



**Михаил
БЕРГ**

Вечный

ЖИД

New England

Михаил Берг

Cambridge Arthur Press

Вечный жид

nd

Вечный жид

МИХАИЛ БЕРГ И ЕГО КНИГИ

Легенда о Вечном Жиде (или Агасфере) вдохновляла многих писателей: Гете, Сю, Жуковского. Не говоря уже о том, что традиционным является описание скитаний и мучений Агасфера после того, как он стал Вечным Жидом, а Берг как раз реконструирует то, что происходит “до”: его версия (исторически, очевидно, спорная) является, как мне кажется наиболее скандальной и провокативной. Мало того, что перед нами возникает фантастический любовный треугольник: сапожник с черной, сидящей около рта бородой, женщина легкого поведения Магда или Магдалина и приятель их общего детства, будущий пророк Иегошуа. Все происходящее передается нам не посредством беспристрастного рассказа, а через восприятие обманутого и обиженного эротомана, Вечного Жида.

Александр Степанов

Из всей плеяды литераторов, стремительно объявившихся из неведомого андеграунда на всеобщее обозрение, Михаил Юрьевич Берг, пожалуй, самый добротный. Ему можно доверять. Будучи в этой плеяде практически единственным ленинградским прозаиком, он в бурях и натисках постмодернистских игр и эпатажей, которым он не чужд и сам, смог сохранить традиционные петербургские темы и культурные пристрастия, придающие его прозе выпуклость скульптуры и устойчивость монумента.

Д. А. Пригов

Бросив общий взгляд на мозаику разных историй и сознаний в романе, мы заметим странное сочетание сплошной публичности человека (нигде не видно стремления что-либо утаить, не выговорить, оставить за собой) с его фатальной отчужденностью, замкнутостью в себе. Роман Михаила Берга, будучи по всем признакам “ироническим дискурсом”, одновременно рассчитан и на безусловно серьезное восприятие. Так же, как, например, серьезности проблем, обсуждавшихся в “Евгении Онегине”, ничуть не

препятствовало то обстоятельство, что роман о героях был у Пушкина одновременно и “романом о романе.”

В “Вечном жиде”, как свидетельствуют и эпиграф из Тертуллиана, и название, в первую очередь ставится и художественно разрешается не вопрос о достоверности художественного вымысла, а вопрос о реальности Христа и его значении для человека и человечества.

Н. Тмарченко о “Вечном жиде”, *Новое литературное обозрение*

Книга принадлежит перу одного из самых рафинированных и эрудированных русских литераторов и писателей нашего времени, петербуржцу Михаилу Бергу... За плечами Берга интеллектуальный андеграунд и притеснения, уготованные “диссидентам” старым режимом, однако он конструктивно/творчески усвоил культуру европейской широты, создав свою теоретическую и повествовательную модель в духе неомодернизма...

Витторио Страда, *Corriere della Sera*

Обозреватель “Сегодня” много лет бравировал своим скептическим отношением к одному из несомненных классиков XX века. Прочитав роман, опубликованный “в волжском журнале с синей волной на обложке” (интертекстуальность! автометаописание! моделирование контекста! ура, ура! — закричали тут швамбраны все), обозреватель понял, сколь нелепо он выглядел.

Андрей Немзер о “Последнем романе”

Отказавшись от архаичного и бессмысленного по сути идеологизирования, Берг сосредоточивает внимание на формальных поисках. Его проза виртуозна, стилистически изощрена, автор показывает себя блестящим учеником Набокова, и в своем творчестве он достигает такого мастерства, которому, возможно, решился бы позавидовать и сам учитель.

Евгений Голлербах о романе “Василий Васильевич”

“Верую, ибо абсурдно” — такой эпиграф можно было бы предпослать роману Берга “Вечный жид”. Текст этого романа состоит из переплетения интонационных потоков, звучащих голосов, которые то появляются, то исчезают, то возникают вновь. Это некий звуковой стилистический ковер, который ткется прямо на глазах читателя. Каждый голос — цветная словесная нитка, сплетаясь вместе с другими, сама вышивает свой прихотливый узор, изгибаясь, увлекая и в то же самое время внося свою по-сильную лепту в общую хоровую ткань повествования.

Александр Степанов

Берг — не только писатель, он активный, неутомимый и необычайно разносторонний “деятель литературы”. К литературе он относится очень весело и очень ответственно. Что еще надо? Талант? С этим тоже все в порядке.

Лев Рубинштейн

Мне не приходилось досель встречать в каком-либо исследовании такой список одновременно и достаточно подробно исследуемых новейших литераторов — от классиков и старожилов до неведомых широкому читателю авторов. Теоретическая же часть книги с нынешней поры, представляется, станет непрямым материалом для цитирования в последующих исследованиях, так как в своей неумолимой последовательности и четкой методологичности является просто пионерской. В такой полноте, последовательности и в приложении к специфическим чертам и обстоятельствам бытования отечественной литературы подобное исследование не имеет аналогов.

Д. А. Пригов, *Итоги*

Сказать, что “Рос и я” — только пародия и мистификация, совершенно недостаточно. Сквозь вызывающие смех ошибки, нелепости, противоречия, самые невероятные утверждения, которыми пестрит монография Ф.

Эрскина, просвечивает трагедия — трагедия художника в трагическом мире, проступает бесконечная грусть и скорбь подлинного автора романа, призывающего на помощь всю русскую культуру, чтобы выдержать сознание вечной тавтологии человеческих комедий и драм.

И. С. Скоропанова

Я не знаю, в часы какого озарения или экстаза посетила автора счастливая мысль сделать своих ныне здравствующих коллег персонажами художественного произведения, но мне эта идея кажется небезобидной, если не зловещей. Есть все-таки в этом какое-то утонченное издевательство, даже садизм — мановением руки превратить творцов в тварей, все равно, что ученых, застывших над микроскопом, — в шевелящихся инфузорий на предметном стекле.

Татьяна Вольтская, *Невское время*

Михаила Берга никогда не заботило, как не заботит и теперь, что про него думает разных уровней начальство. Но как писатель он убежден в том, что начальство должно, обязано знать и учитывать его мнение, его взгляды и жизненные принципы. Вот он и написал. Написал безо всякой почтительности, с одной стороны, и без истерических наскоков — с другой. Написал как равный равному. Вежливо, но предельно жестко. Жестко, но сочувственно. Беспощадно, но не оскорбительно. Заинтересованно.

Лев Рубинштейн, *Грани*

Что происходит в этом романе? Автором неоднократно подчеркивается вариативность происходящего. Возможно, звучащие голоса принадлежат обитателям палаты сумасшедшего дома, возможно, все голоса роятся в мозгу одного человека — на это указывают своеобразные заскоки, присущие всем без исключения персонажам романа, когда они вдруг начинают заговариваться примерно в одних и тех же выражениях, на одних и тех

же словах. Возможно, все происходящее не только кажется, но и оформлено уже в читаемую на протяжении всего романа рукопись. А может быть, это никакое не сумасшествие, а исповедь перед случайным собеседником, скажем, того же самого Вечного Жида, или несостоявшийся наяву разговор одного из героев о рано умершем сыне, или «мозговая игра» автора. Интонации сами по себе творят персонажей, каждый из которых имеет свою историю, свою судьбу, свой язык и свой пафос.

Александр Степанов

Новая книга петербургского писателя Михаила Берга “Письмо президенту” — одно из самых жестких произведений, выносящих обвинительный вердикт нынешнему российскому политическому режиму. Даже в антипутинской публицистике мне не часто приходилось встречать такие определенно негативные оценки главной фигуры современной России.

Дмитрий Травин, *Дело*

Я должен признать, что новые подступы к литературному материалу (в том числе и историко-социологический, атональный подход, который предлагает М. Берг) открывают в художественных текстах такие их составляющие, которые были недоступны тем, кто усматривал в литературе ценность-в-себе, полагаясь на Канта и русских формалистов...

И. П. Смирнов о “Литературократии”, *Независимая газета*

Михаил Берг — неколебимый рыцарь Слова в ржавых, намертво приросших к телу латах Русской Духовности, но с лазерным мечом Постмодернизма в сильной руке.

Владимир Сорокин

МИХАИЛ БЕРГ

Вечный жид



Cambridge Arbour Press
New England
2010

The Wandering Jew

Вечный жид

By Michael Berg

Copyright © 2010 by Michael Berg

All rights reserved.

ISBN 978-0-557-30100-3

Printed in the United States of America

Вечный жид

*...Не стыдно, потому что постыдно...
оттого и заслуживает веры, что бессмысленно...
несомненно, потому что невозможно.*

Тертуллиан

...не знаю, не уверен, боюсь напутать: на чем я кончил в прошлый раз? На каком-нибудь знаке препинания, что я поставил либо нет, не помню, поставил, конечно, в смысле фигуральном, переносном, да, да, только в переносном, и, уж вероятно, не точку, которая только расплывается в корявую географическую кляксу в виде Мертвого моря, если притиснуть промокашкой, ворсистой, теплой и шершавой, пахнущей новой ученической тетрадью, понедельником или круглым животиком пресс-папье с приятной охлаждающей мраморной рукояткой, увенчанной шлемом, промокнуть чернильную точку вытертой от употребления фланелью и поставить пресс-папье на место, ощутив на минутку его приятную тяжесть. О, я не рассказывал тебе еще и десятой, сотой доли того, что хотел и о чем ты так и не узнал, о женщинах, блондинках и брюнетках, тонких и пухленьких, о мягких местах и жестких словах, о мучениях любви и как они умеют расчесывать волосы на ночь, свешивая волнистую гриву, шелковистую тяжелую массу, набок, на одно

плечо, и расческа с сухим треском ходит туда-сюда, плавными рывками, по кругу, а свет от моргающего на ветру фонаря сеется сквозь узкую щелку в тяжелых гардинах, подрагивает, пританцовывает в тысячах бликах-близнецах на худенькой быстрой ручке, а когда на мгновение гаснет, то видна пыль, осевшая на настенном и косо висящем зеркале в деревянной раме. А сколько я знаю разных историй, нравоучительных и занятных, смешных и грустных, трагических и нелепых, о конвертах с синей печатью, о книге, что открывалась только на одной странице, о девушке из Гренобля, которую украли, а потом ее родители каждое утро получали коричневые бандероли, пахнущие сургучом и бечевкой, — ну, ты уже догадался, что было в этих бандеролях; и многое, многое другое, только слушай, Ньюма, мальчик мой! А чем, скажи, не тема: тайна Пизанской башни? Да, а сколько игр и их секретов я смогу тебе открыть: игр для двоих, троих и четверых, карточных, настольных, — требующих только листка бумаги и карандаша, твердого или мягкого, фабрики Сакко и Ванцетти или любой другой, а если есть шариковая ручка, то подойдет и она, только я, ты знаешь, предпочитаю традиционное перо — пикет, американский покер, безик, преферанс классический, который хорош в поезде и на пляже, если компания мужская и нечем заняться, а для дам — бридж с цветными фишками и металличе-

скими жетончиками, которыми, кстати, можно звонить в телефоне-автомате, если, как назло, куда-то запропастились все двухкопеечные монеты, а звонить надо позарез. А игры для одного, если ты сидишь в печали, поздний вечер, один, лампочка на дачной веранде, обернутая пожелтевшей газетой, светит тускло, стакан с недопитым чаем оставил на клеенке несколько мокрых пересекающихся кругов: чем, скажи, в таком настроении плох пасьянс Маргариты Наваррской, этой лучшей писательницы среди всех принцесс и превосходной собеседницы? Тайну этого пасьянса она открыла мне однажды, в укромной галерее, с глазу на глаз. Когда к моему соседу еще приходила на свидание испуганная жена его, то как удивлен я был ее поразительным сходством с моей приятельницей Маргаритой: та же аристократическая неправильность черт — вытянутое треугольное лицо, высокомерно высокие скулы, припухлые бледные щечки, глаза под геометрически прямыми бровями, выпуклые, точно у ночной птицы, с искорками затаенной грусти либо порочности, я не разглядел, но главное — нос, как ребро, пересекающий личико биссектрисой пополам, нос римского патриция, только острей и длинней, нет, не гоголевский нос, не орган коллежского асессора Ковалева, а нос ученой библиотечарши, что почти цепляется за крепко сжатый девический рот с несколько опущенной нижней губой, а даль-

ше — остренький подбородок с ямочкой, говорящей об обидчивости женской натуры. А если отсечь от этого имени последнюю букву, как другой королеве отсекали голову, пока она стояла на карачках? То останется просто Маргарит — или жемчужина, если вспомнить греческую речь, — как назвал свои поучения Иоанн Златоуст (ок. 347–407); ты только не путай Маргарит с Маргерит: одна буква делает перекресток, на котором, переминаясь с ноги на ногу, будто хотят «пи-пи», стоят под дырявым зонтиком одной фамилии два брата, бездарные писатели Польша и Виктор, не Польша и Вирджиния и не Польша и Виргиния, а Польша и Виктор, стоят и читают по очереди друг другу свои идиотические книжки: сначала читает Польша, а Виктор слушает, прикрыв глаза, потом читает Виктор, а Польша ему внимает; а помнишь ту забавную эротическую пьеску про дурачка Маргита, древнегреческого автора, пародирующего Гомера, кучерявый эпос и дактилический гекзаметр (а может, это и сам Гомер — неизвестно), что я когда-то поставил: одно действие — брачная ночь, множество смешных положений, связанных с различными сексуальными позами и топорным юмором древних? О, сколь прекрасно чтение на воздухе: где-нибудь на берегу тихой реки, у озера, по зеркальной поверхности которого скользят жуки-плавунцы, хрупкий недлинный камыш напоминает небритую щетину, в полях, в пампасах, или просто

поставить раскладное парусиновое кресло посреди лесной полянки, втиснуть в его мягкие объятия свои тела, возложить неумные локти на удобные подлокотники и листать страницу за страницей, страницу за страницей, — сколь благословенно, Ньюма, сословие читателей: кто свободней, партикулярней, независимей этих скромных граждан, сидящих в парусиновых раскладных креслах с книжкой в руках посреди лесной полянки среднерусской полосы: возмущенная ветром трава-мурава волнами ходит под ногами, стволы деревьев плотной толпой теснятся вокруг, и кроны сливаются, как мужчина и женщина в любовном объятии; меж могучих ветвей ближайшей ели, выступившей на два шага вперед, кое-где поблескивает серебряная паутина, словно некая шустрая старушенция быстро мельтешит спицами, кончая вязание; скрипит или, я бы даже сказал, стонет, если это не покажется тебе слишком сильно сказанным: но именно стонет трещина старой дупливой березы с отломанной вершиной и почерневшими от старости кистями ветвей, стонет, как старый человек от болей в пояснице, как стонал твой дедушка, поднимаясь по лестнице своего дома в Могилеве, шепчет что-то в ответ ветру всей своей поределой кроной; но вот ветер потух — замерло, еще чуть-чуть позвонев, монисто листвы, трава по-собачьи прилегла у ног — и сиди, читай себе дальше, строчку за строч-

кой, страницу за страницей, — кто тебя свободней? А коли надоест, я не утверждаю, что обязательно надоест, но можно просто устать, автор потребует некоторой передышки, раздумия, то всегда есть отвлечение: как хорош бадминтон в лесу, особенно если нет ветра, а есть хороший напарник, — без всякой сетки, мы не пижоны, выбрать площадку поровнее, шагов так семь-восемь, и перебрасывать перистый воланчик с круглым резиновым носом, ударяя туго натянутой ракеткой, отчего в теле — в ответ — тоже задрожит какая-то приятная струнка; а нет напарника — тоже не беда, можно играть и одному: встать против дуновения воздуха, которое есть всегда, и посылать блаженную тяжесть воланчика вверх, стараясь, чтобы он летел красиво и вертикально, разрезая воздушный пирог углом падения и отражения, опять ловить упругой сетчатой поверхностью, подставляя ее перпендикулярно, и снова смотреть, как оперенный, точно рифма, воланчик уходит от тебя в небо; скажу заранее — когда играешь в бадминтон один, удовольствие тем больше, чем реже воланчик упадет на землю мимо твоих ротозейских рук! А помнишь, как один незадачливый воспитатель учил свою малолетнюю питомицу, используемую им не по назначению, приемам лаун-тенниса на кортах Среднего Запада; не знаю, как ты, но я до сих пор иногда выезжаю на левую сторону дороги, не снижая скорости, мчусь на поток ма-

шин, которые, испуганно сигналив, сворачивают в сторону, обалдело машут сквозь ветровое стекло руками, крутят указательным пальцем около виска, но я жму на акселератор, а когда колеса, как рыба в тесте, увязают в земле, сижу, зная, что больше не шевельнусь ни ногой, ни рукой, ни пальчиком, пусть несут на руках до машины, втискивают на заднее сиденье, а перед глазами стоит заплаканное личико этой стыдливой сиротки, ведь она плакала каждую ночь, если думала, что я сплю, или та гримаса, которую я подглядел у нее в ванной, трудный, трудный путь к освобождению своему выбирает иногда тварь человеческая, не ведает, что творит, как сказал бы Ивушка Плакучая. Вот бы с кем тебе — а, вон Прозерпина, дежурная сестричка, с уткой к Столбняку прошла, который, вероятно, и сегодня не встанет, а так и будет, как истукан, сидеть в своей буддийской позе, пока Гиппократ из института Сербского обход не закончит, грядки пропалывая и сорняки выкорчевывая; не помню, боюсь напутать, запомнил — рассказал ли я тебе, что этого монаха так и привезли с Малой Садовой — ступни, скрепленные судорогой, ловко на бедра выворочены, чтобы лотос получился, и лик немой и бесстрастный, в себя обращенный. Постой, скажешь ты, а разве у нас есть буддийские монахи? У нас есть все, отвечу я. И все они живут на Малой Садовой? Да, буддийские монахи живут на Малой Садовой, про-

сто Садовой, но не только — одного буддийского монаха мне показали в переулке Ильича, дом восемь, квартира семнадцать: одиннадцатый день сидел он посреди коммунальной кухни в позе безмолвия, погруженный в собственные медитативные видения, как ведро в колодец с водой, с лицом и телом, позеленевшим от напряжения (а может, наоборот, расслабления, как правильно — я не знаю), словно от кислорода медный памятник; голодный как собака, ибо, конечно, не ел все это время, а его то и дело проверяли на бесчувственность — кололи иголками и булавками, значками, которые специально для этого отцепляли от лацканов пиджаков и кофточек, синтетических курток с олимпийской символикой и без оной, одна девушка вынула из уха золотую клипсу в виде подковы и попыталась закончить фигуру умолчания с ее помощью, но тщетно; монах подносили к ноздрям ватку, обильно смоченную нашатырем, ставили на спину дымящие огнем банки, отчего спина стала напоминать шкуру леопарда, и квартирная кошка от ужаса выгибала спину Львиным мостиком; за оттопыренный палец ему цепляли веревку для сушки белья — монах был безучастен: говорили, что он готовился к этой медитации семь лет и собирался выяснить свои отношения с Конфуцием. Но наш собственный буддийский монах Петр Семенович Столбов, или Столбняк в просторечии, был совсем

другим: он стал буддийским монахом внезапно, по велению сердца и открытой всем сквознякам души, за пятнадцать минут до обращения он еще не знал, во что обратится: руки вдруг скрестились на груди, словно букву «х» изображая, и ноги сами эту же букву повторили. А вот и Изобретатель наш проснуться изволили, вывернул из-под одеяла свое лицо, помятое, точно обод велосипедного колеса, проехавшего по гравию, хотя лицо значения не имеет, ибо имеются еще и уши, отбрасывающие тень, словно листья платанов, так что не виден затылок, скошенный, как каблук; уши, должен заметить, живут самостоятельной жизнью, ибо, если позволено будет сравнение, так сказать, гипербола, выдают любое стремление души, как хвост, не желая его, впрочем, унижить, собачий. У тебя не составилось впечатления, ты желаешь пространней? Пожалуйста. Представь себе тогда Мичмана Изи с шестиклассным образованием, выгнанного за неуспеваемость из ремесленного училища, полуденный, если угодно, возраст, то бишь что-то между сорока и пятьюдесятью, маленькие медвежьи глазки, спадающая на лоб челочка, огромные, как ты понял, уши, и присовокупи к услышанному перечню космогоническую теорию бесконечно малых и бесконечно больших инфрадвижений и роль главаря банды космического шпионажа, вот как раз встретился с ним взглядом — ишь, смотрит, жидомор-мухомор,

жидомасон проклятый, взглядом излучает, надо гиппократу иванычу пожалиться, чтобы личность оградили, ибо невозможно творчески мыслить, когда разные жидоморы взглядом вербуют, нет, думаю, смотреть нельзя, ни-ни, и не буду, сделаю вид, что взгляда евонного не замечаю, мол, меня это не касается, а то скажут, чего это ты так разволновался, тем, у кого совесть чиста, бояться нечего, ни-ни, и смотреть не буду, накроюсь простыней с головой, вот так, ага, выкусил, на, выкуси, вот только дышать тяжело, душно как-то, воздуха мало, простыня горячая и ко рту прилипает, ага, а мы струечку сделаем, воздухопровод проведем, вот так сюда пальцем подыму, и воздух чистый побежал, другое дело, ишь, слово-то какое придумал — воздухопровод, само получилось, смотри-ка, заковыристое словцо-то, а, вот водопровод был, его кто-то другой придумал, а воздухопровод — его и не было, его я придумал, а что — слова новые тоже, поди, не каждый день изобретаются, это, может, и пошибче будет, изобретатель воздухопровода илья кузьмич ухов, звучит, а, вроде ничего, слова тоже, будь здоров, принадлежат народу, и мы не позволим, да, да, и что-нибудь такое завернуть, а что, могут и в центральной печати поместить, так, мол, и так, изобретено новое слово, пользуйтесь им по праву, применяйте по назначению, не жалко, а изобретатель этого слова такой-то и такой-то, и пусть фото-

графию приклепнут, небольшую, будьте любезны, мы не гордые, пусть хоть как на паспорте, да, и обязательно подзаголовок — мол, так и так, университет на дому, нет, как-то нехорошо, не так звучит, не очень подходяще, лаборатория мозга — это уже лучше, научного больше и попроще, но тоже не то, как-нибудь иначе, вроде — изобретатель шутит, или — размышляя на досуге, а то подумают, будто он только сидит и слова разные выковыривает, как изюм из булки, а вот он не только, не только, вот это и надо подчеркнуть — то есть главное дело, мол, пока главная теория создается, напал на новое слово, по этому поводу и статейка тиснута, вот только подзаголовок надо бы половчей составить, а то они, конечно, у них одни свои, а как голос новый, никому не известный, — так ему преграды и препоны всякие, мол, так и так, нет, милые товарищи, извини и подвинься, этак у нас дело не пойдет, этак мы с вами знаете куда заедем, мы с вами, и тут что-нибудь такое хлесткое, тут можно, мол, так и так, что-нибудь такое эдакое, ну-ну-ну, нет, что-то голова сегодня не то, не варит и дышать трудно, душно, ах ты — воздухопровод засорился, так-так-так, сейчас мы его прочистим, вот так, вот так получше, но голову все равно чего-то не того, будто влияет кто-то, ага, это наверняка жидомор проклятый взглядом своим излучает, надо бы посмотреть — глядит или нет, жалко, я щелочки никакой не

оставил, глазочек бы такой потайной, а то совсем с головой накрылся, ай-я-яй, как же так, как же я так сделал, какой козырь я им дал, да, дал я маху, ведь они теперь скажут — ага, накрылся, спрятался, значит, испугался, значит, совесть не чиста, у кого совесть чиста, бояться нечего, а тут взял с головой накрылся, это меня все мухомор запутал, взглядом смутил, масон проклятый, вот я простыней и накрылся, будто сплю, а если и вправду вид сделать — будто я сплю, а по нечаянке простыней с головой и накрылся, будто так, будто ничего, а потом душно стало — я и воздухопровод сделал, да, да, постой, а вдруг они заметили, как я пальцем-то по простыне со своей стороны водил, струйку сооружая, воздухопровод, будь он проклят, делая, ай-я-яй, наверняка заметили, жидомор этот, конечно, первым заметил, как же, скажут, ты спал, если пальцем с обратной стороны водил и воздухопровод делал, ну и влип, ну и вляпался, как же быть-то теперь, а может, я со сна пальцем по простыне водил, сплю себе, вдруг, глядь, вижу, то есть во сне вижу — муха сидит, я ее отгонял, мол, кыш, кыш, лети отсюдова, и пальцем ее, да, вот, значит, гоню ее пальцем, это во сне, конечно, а им со стороны кажется, будто я воздухопровод какой-то делал, а ничего подобного, никакого вашего воздухопровода и в глаза не видел, нет и нет, категорически, и слова такого не слышал, ни разочка, так что отдохни подвинься, а воздухопро-

вод тю-тю, это ты его сам придумал, чтобы на меня наклепать, а на меня так просто не наклепаешь, я еще ого, я сам наклепаю, так что, может, ничего страшного и не получилось, я, мол, спал, а со сна и так далее, спал, спал, а теперь проснулся, ага, надо вид сделать, что я спал и сейчас сплю, а сейчас просыпаюсь, ага, а как я просыпаюсь, мне антонина, жена то есть, всегда говорила, ты как паровоз храпишь, особенно если на боку завалишься, я тебя так и так толкаю, и локтем и коленом подвигаю, а ты храпишь и храпишь, как телега несмазанная, ладно, завела карусель, на себя сперва погляди, вот, и объяснять нечего, будто специально, храплю—не храплю, лишь бы прицепиться к чему было, а тут дело природное, понимать надо, это кому как положено, ну да тебе не понять, не твоего ума дело, да, да, не по сеньке шапка, вот так, ага, извини за грубость, ага, не суй свой нос, да, да, это тебе не выточки-цветочки, это тебе не пропуска на своей вертушке просматривать, это понимать надо, я и говорю, что, что, я и не зарываюсь, это ты зарываешься, ты смотри, ага, или иначе, вот, а на каком я боку лежу, а я на спине, значит, могу и не храпеть, так, теперь просыпаюсь, а чего просыпаться, чего делать-то буду, на жидомора смотреть, так удовольствие маленькое, а мне чего, лежу на спине, простынка вот сама сползла, дышать можно, все равно ведь сплю, вот и буду спать, пусть так и думают, ага, если что, то так и ска-

жу, спал себе и спал, а мыслью можно и во сне заниматься, интересно, а глядит он на меня сейчас или не глядит, а, нет, надо отсюда выбираться, из болота этого, каждый день взглядом излучают, в масона вербуют, я не для себя стараюсь, я, будьте любезны, теорию главную делаю, а мне мешают, вот, прошу оградить, они меня сюда специально засадили, масоны проклятые, а теорию тем временем и прикарманят, ишь, хитро задумали, нет, надо к общественности обращаться, мол, так и так, ага, прямо сейчас и сочиню, будьте любезны, засадили, прямо к главному врачу, в связи с тем, что во вверенном вам учреждении невозможно, хорошо, хорошо, невозможно, и тут что-нибудь такое подпустить, чтобы поняли, с кем дело имеют, ого, в то время как, да, категорически, ну да это ерунда, это я потом на бумаге еще лучше накатаю, ага, мол, так и так, поместили куда, вот, что за компания у вас здесь обитается, надо разобраться, да, и тут что-нибудь такое высокое, про материю какую-нибудь, короче — возражаю, да, это что же такое получается, уж про жидомора не говорю, тут вообще разговор особый, в другом месте и в другое время, а взять хотя бы престолонаследника, так ведь это монархист матерый, едрена вошь, чистой воды, он мне и воззвания читал, еще слова там такие наворачены, мол, так и так, император такой-сякой и все такое прочее, я ему, конечно, поддакивал, ибо вижу, что че-

ловек не в себе, но сразу скажу: я не согласен, а то, что кивал, так это для отводу глаз, потому что я-то его сразу раскусил, да, да, будьте любезны, это вы с ним цацкаетесь, потому что без понимания, я, конечно, извиняюсь, да, я-то сразу понял, что он это только так, прикрывается, мол, да, я не в себе, чтобы вы поверили, а он тем временем пропаганду свою гундосит, что хочу, мол, то и говорю, так и получается, а скрипачишка этот бывший, если в таком разрезе брать, к нему еще жена его, пиликалка тоже, ходила, цаца расфуфыренная, глаза еще такие испуганные, как блюдца, бледненькая такая, даже хвостом с испугу не вертит, даже как зовут — запоматывал, иван павлович, что ли, его еще ивушкой плакучей кличут, за то, что худой, как хлыст, не знаю, шепчет еще все время, шептун вертлявый, про своего елеем помазанного, шепчет и шепчет, ага, мол, бичует, каким он был, непотребства разные рассказывает, мол, кается теперь, такой я и сякой-разэтакий, а ты не блуди и каяться нечем будет, ишь, нашли манеру — так и так, будьте любезны, этак каждый может: сперва нагадить, а потом языком лизать, а ты сперва не делай, ты вежливые понятия имей, вот я и говорю, вы куда же меня поместили, да и ванечку взять, эники-бэники-си-колеса, это, эники-бэники-ба, черт знает что получается, просто совсем debil натуральный, ага, ухо вертит, рожи разные строит, хорошо — тихий еще, а так не

знаю прямо, как и быть, обстановочку прикиньте, товарищи дорогие, а у меня контакты важные, космические, можно сказать, информацию, будьте любезны, из первых рук получаю, такое дело, все ниточки к себе прибираю, ибо они (но это не вашего ума дело) меня за своего считают, мне молоко натуральное выдавать можно, за вредность полагая, ибо, получается, я как на спецзадании нахожусь, хотя и против своей воли, так как не подготовлен, но паутину их вражескую, происки и так далее, как пить дать, но это как бы дело общественное, которое я поневоле на себя взял, так как сам выхода пока не вижу и о нем не все сообщаю, а так просто думаю, это я знаю, кому отпишу, это, будьте любезны, штукавина тонкая и государственная, а вам, чтоб понятие имели, что поставлен в невозможные обстоятельства, перед видом, так сказать, а мне еще труд мой закончить надо, хотя это опять профиль не ваш, это в академию сообщать надо, мол, так и так, находясь на вынужденном спецзадании государственной важности и необходимости, отлучен от книг, проясняющих философское содержание, и документов, не имею сил продолжать начатое ранее, о чем сообщал, и вообще существую впережку, да, да, да, как коллеги по призванию, так и так, все понимаю и рассчитываю, наука требует жертв, мол, путь познания и так далее и т. д. и т. п., но, дорогие товарищи ученые, друзья мои научные и кол-

леги, рассмотрите текущую ситуацию, когда я, как известно, двигаю теорию инфрадвижений, мол, с которых все началось, и причинно-следствия, вынужден находиться, прошу понять меня правильно, заходит эта засранка, сестричка в своем халате, заходит в самый творческий процесс, а под халатом натурально ничего нет, я опыт специально ставил, ничего не просвечивает, кроме ейного бесстыдства, у меня естественное возмущение, а она: я не к вам, я больному утку принесла, а больной — это тот, кто в позе восседает, столбняк который, а сама как спичка, кабзда худая, мол, здесь температура такая, что жарко, и я задыхаюсь, я и врачу, гиппократу иванычу, жаловался, как почти коллега и входя в его положение, но он тоже говорит, температура и задыхается, а когда попросил его книги как необходимое подсобье представить, он только, что вы переутомились, вам надо отдохнуть и все пройдет, короче, мозги пудрит, а с маятником, что жидомор-мухомор, да и с ивушкой плакучей на ты и за руку, что вызывает размышление, и сыну царскому что-то на ухо шептал, код какой-то, энтерсептол да энтерсептол, отчего возникло подозрение в его соучастии, ибо их, конечно, намного больше, чем можно вообразить и чем вы, через стекло, можете разглядеть, лично я прямо физически ощущаю, как опутывают с ног до головы в свои масонские связи, желая сбить с толку, а то, что кто-то может возраз-

ить, как же это он ничего не чувствует, то такое недомыслие понятно, ибо они тоже не дураки и их интересует самая передовая мысль, которую они хотят использовать и завладеть, вот они на меня как на ученого и накинулись, тут нюх, будь здоров, что еще раз доказывает важность сделанного открытия и необходимость его сохранения, ибо потомки наши не простят беспечности, да, да, да, ибо — и тут еще что-нибудь мощное, мол, так и так, даешь науку и, слушай, приятель, потише нельзя, на полтона, что, я говорю потише, пожалуйста, тут еще спят даже, да я разве, ай-я-яй, опять маху дал, как же так, получается, я сплю, а во сне вслух разговариваю, ну, вляпался, ой-е-ей, теперь жидомор, маятник проклятый, скажет, мол, он только вид делал, что спал, а на самом деле совсем и не спал, а сначала воздухопровод делал, ибо испугался, так как совесть не чиста, у кого совесть чиста — бояться нечего, а потом и вовсе стал вслух орать, так как его сюда не просто доставили, а за дело, значит, теперь давай и на нас работай, сообщай все сведения, которые знаешь, а если вид сделать, что я со сна говорил, ванечка тоже, будьте любезны, как зарядит иногда со сна, ре-ре-ре, стоит домик на горе, что даже вскидываются, бывало, да, да, да, мало ли что вслух, со сна не очнувшись, наговорить можно, а теперь проснулся и молчу, как все лежу, и ничего, а маятник скажет чего, а ему, а ты чего здесь лежишь,

так что неизвестно — кто и кого, а лежу и молчу, лежу себе и молчу, и все, и молчу, да.

Ивушка, Ивушка Плакучая: слышу, как говоришь и повторяешь ты имя. Губы, губы твои, предназначенные для лепета и шепота, робкие и нежные, разлепляются и шепчут, шелестя как лепестки: Ивушка, Ивушка Плакучая, вернись, вернись, если можешь, Ивушка. Не могу, не могу, не могу, не могу; Ивушка, вернись, Ивушка, опять просят губы твои, глаза твои, испуганные и большие, как блюдца: грустно возвращаться мне одной после работы в кинотеатре нашем, где сижу теперь одна, рядом с пустым стулом, обтянутым клеенкой, мутной и потрескавшейся, как зеркало от времени, и не слышать скрипки твоей в пиликающем оркестрике нашем, не слышать шуток твоих, когда Олимпиада Васильевна, ты помнишь ее, в черном платье, обшитом мелким бисером и блестками, пробирается между коленкоровых стульев со зрителями и слушателями нашими, пряча в руках фисташковое фруктовое мороженое в бумажном стаканчике. О, Олимпиада Васильевна, говорил ты, о, голос души моей. Горько, горько и грустно звучит скрипка моя в пиликающем хоре бедных мелодий, над которыми так смеялся ты, Ивушка, Ивушка Плакучая, а потом, после послед-него сеанса, в одиночестве возвращаться домой, в дом наш, состоящий из одной комнатки, самой стаскивать с себя

плащик, скидывать туфли, цепляя носком за задник, пачкая при этом чулки, ибо некому меня корить за это, а затем брести по коридору в одних чулках, прижимая к груди пахнувший канифолью и дерматином футляр, брести в комнату нашу, в дом наш. Ивушка, Ивушка, Ивушка Плакучая: зовут, распускаются губы, как речная лилия. Ивушка. Шепчут, бормочут, тянутся вперед, будто произносят и просят: пить, пить. Ивушка. А как грустно и одиноко звучала однажды скрипка моя, когда я как-то вечером взяла футляр с полки, вынула из футляра скрипку, протерла синей фланелью и вызвала смычком своим первые звуки: как тихо и безысходно запел Шуберт, завертелась, зашумела мельница, стоящая у пруда, закапала вода, ветер сломя голову побежал по траве, и окошко на втором этаже погасло, зажглось на минутку и погасло опять. Только раз, говорю тебе, звучала скрипка моя, нарушая ночную тишину и покой усталых соседей наших: тружеников и тунеядцев, встающих рано, чуть свет, и поднимающихся поздно, когда встанется, алкоголиков и язвенников, подъездных старушек и женщин в интересном положении, чего-то ждущих девушек и дождавшихся молодых матерей, водопроводчика жэка и персонального пенсионера с красной книжицей, всех многочисленных соседей наших, которые спали либо нет, а если спали, то в испуге приподнялись на домкрате локтя, прислушались

к тихо звучащей скрипке, ругнулись про себя и повернулись на другой бок. Только раз смычок, побежав, как огонь по хворосту, попытался перепилить пустоту души моей, но споткнулся о порог тишины, замер, повис в воздухе. Шуберт растаял, растворился без осадка, как в кипятке сахар, который я кидала тебе каждое утро в чашку, Ивушка, и опять стало тихо. Вернись, вернись, Ивушка, просит голос твой, словно ухо прислоняется к морской раковине, губы твои почти касаются ушной перепонки, шепчут, шепчут губы твои. Не проси, не проси, Лигейя души моей, другой говорит через меня, другое зовет меня теперь, не заставляй повторять, что домашние — враги твои, ибо нет у меня домашних, а есть ты, Лигейя слуха моего. Ивушка, Ивушка Плакучая, опять звучит эхо просьбы твоей, как одиноко стынет узкое тело мое в ночи одиночества моего, и нет рядом тебя, и нет рук твоих, и дыхания не слышу твоего. Как велика, как просторна постель наша, как одиноко, неуютно в ней одной: и простыня скручивается винтом вокруг лодыжки, и одеяло к середине ночи сползает на пол, и угол подушки пышет жаром, как угол печи. А раз, вернувшись после последнего сеанса в кино-театре нашем, не включая света, стояла посреди комнаты и потом, положив футляр на стул, стала раздеваться для тебя перед зеркалом: платье сошло с меня, как кожа, которая шелушится, нижняя юбка упала на пол, от-

стегнутые чулки собрались в гармошку под коленками, и я вышагнула из матерчатого круга, и узкая, известковая женщина, качнув бедрами, появилась на поверхности зеркального стекла. Шпилька металлическая застыла в руке, волосы для тебя рассыпались по плечам моим. Посмотрела. Как белеет молочное тело мое, как набухли сосцы: без рук, без губ твоих, Ивушка, муж мой. Вернись, вернись, Ивушка, Ивушка Плакучая, или ты не видишь меня. Вижу, вижу тебя, Лигейя зрения моего, облик твой навсегда отпечатался на сетчатке моего глаза, хочу и не могу сморгнуть абрис твой, как ресничку, прилипшую к главному яблоку. Слеза выступила от механического раздражения, но все равно контуры известкового тела твоего проступают фотоснимком из проявителя; смычок чертит по воздуху воображаемые контуры твои, обтекаемые, точно береговая линия; но не искушай меня, не говори ничего больше. Ивушка Плакучая. Не надо, говорю я тебе, не проси, Лигейя моя, лучше послушай, какой я однажды, уже здесь, видел сон: ты знаешь, как плохо я засыпаю и как странно действует на меня снотворное, прописанное Гиппократом Ивановичем. В тот раз мне казалось, что я опять стал мальчиком, представь себе, эдакий стриженный мальчик в синих трикотажных трусиках, которые, как обычно, замяты в паху и растянуты у бедер. Будто мальчик, то есть я, сидит на корточках на берегу какого-

то пруда или тихой речки, а может быть, покинутого озера, которое затерялось в лесу, или даже морского лимана, где вода пресная и желтая из-за глины, имеющей какие-нибудь полезные лечебные свойства, и если пить воду этого морского лимана из эмалированной кружки с трафаретной клубничкой или двумя вишнями посередине, то на дне и стенках этой эмалированной кружки останется ржаво-рыжеватый оттенок, безвредный, а скорее даже — полезный, но мальчик, вероятнее всего, сидит на корточках на берегу тихой лесной речки, рядом с ним куст, растущий буквально в двух шагах, раскинул во все стороны свои тонкие гибкие ветви, напоминающие разметанные в беспорядке по подушке женские волосы ночью, если, конечно, они предварительно не были собраны в прическу под косынку либо закреплены специальной повязкой, шпильками-невидимками или гребешком; ветви растут в разные стороны, стелются, ползут по земле, вздымаются вверх и куда им вздумается, ныряют под собственной тяжестью в воду тихой речки, желая утонуть, но не тонут, а лишь бороздят медленное течение воды (видишь, раз течение, значит — речка, и мы правильно с тобой угадали), создавая сходящие на нет островки, спокойные заводи с рябью по краям. Очень хорошо, Ивушка, ты очень хорошо и подробно описал этот куст, но мальчик, что он делает один на берегу тихой речки, рядом с этим

живописным кустом, причем сидит на корточках, затекают ноги, может закружиться голова, расскажи, пожалуйста. Да, действительно, ты права, мальчик уже давно сидит на корточках у самого берега, рядом с кустом, который медленно, как рак, сползает в воду, одна сандалия у мальчика промокла и тихо чавкает, когда он чуть-чуть, буквально на несколько сантиметров, переставляет ногу в сторону, ибо от неудобной позы его хрупкие члены действительно затекли; на одной круглой коленке ссадина, свежая, не покрытая еще тиной запекшейся крови, с лучиками мелких царапин, и в руках самодельный пропеллер, составленный из двух гладко обструганных палочек, которые скреплены посередине гвоздем. Ивушка, он, наверное, и очутился на корточках на берегу тихой речки, потому что запустил свой пропеллер, нашел его и теперь сидит и чинит его, ибо, ударившись о землю, пропеллер мог испортиться, выйти из строя, получить поломку и теперь нуждается в ремонте? Да, возможно, вероятно, очень может быть, скорее всего, ты права, и он действительно запустил свой пропеллер, который, разрезая лопастями воздух, с приятным свистом взвился, взлетел продолжением броска, мелькая, точно спицы в велосипедном колесе, пока мальчик провожал траекторию его полета восхищенным взглядом, а затем, конечно, упал, зарылся в сухой с мелкими камешками и раздробленными речны-

ми раковинами песок и вполне мог сломаться, например, лопасти могли перекоситься, и их следовало подправить. Но, должен тебе сказать, мальчик сидит на корточках на берегу, как мы уже выяснили, тихой лесной речки не из-за пропеллера, который действительно зарылся в песок, и лопасти поэтому перекосились, сидит он совсем по другой причине, обрати, пожалуйста, на это внимание; дело в том, что, откопав зарывшуюся в песок лопасть пропеллера, на одном из листиков, которые плыли, оставаясь на месте, скользили по поверхности тихой лесной речки и удерживались в неподвижности черенком гибкой ветви, так вот, на одном из листиков, на его ворсистой стороне, мальчик заметил маленького кузнечика, перебирающего лапками, — всмотрелся: конечно, это был не кузнечик, а маленький музыкант, кажется альтист, который, подбородком прижимая полированный инструмент, чертил по воздуху смычком. Постой, Ивушка, я боюсь, что неправильно тебя поняла: очевидно, ты выразился метафорически, мальчик увидел кузнечика, который показался похожим на музыканта, например на альтиста, произошла, если можно так выразиться, материализация метафоры, что возможно при поэтическом воображении, а очень вероятно, что твой мальчик именно таким воображением и располагал? Нет, ты не поняла, Лигейя моя, я тоже сначала подумал, что мальчик увидел кузнечика, которого

принял за музыканта, своеобразная абберация зрения, жарко, полдень, от травы исходит душный, насыщенный запах, ни ветерка, солнце палит во все лопатки, мальчик без головного убора, голову печет, он присел на корточки, от резкого движения могла отлить кровь от головы, отчего и не такое может привидеться. Но не тут-то было — мальчик вгляделся внимательней: на листике действительно стоял обыкновенный маленький альтист, елозивший смычком по грифу своего альта, а на складном пюпитре перед ним лежали белые листы, очевидно ноты. Мальчик отвел взгляд. На соседнем листике, черенком крепящемся к другой спускающейся к воде ветке куста, расположился еще один музыкант, скрипач, в следующее мгновение перевернувший страничку нот на своем пюпитре. На листке рядом, бороздившем течение тихой речки несколько поперек, навис над гроздью барабанов и барабанчиков бесшумный ударник. Чуть в отдалении выводил мелодию старый гобой, рядом с ним вел свою партию флажолет; над рябистой поверхностью воды струился легкий молочный пар, над паром струилась тихая, беззвучная музыка; на ближайшем, поставленном вполоборота пюпитре виднелись виноградные веточки нот, тонким плющом оплетающие страницу. Наверно, ты хочешь спросить меня: тихая — еще куда ни шло, но беззвучная? Наверно, ты ошибся, выразился неточно, подобрал неу-

дачное сравнение. Видишь ли, я отлично тебя понимаю, я сам так думал, но дело в том, что музыка действительно была беззвучной, ничего не поделаешь: мальчик слышал партию альта, корнет-а-пистона, видел блестящую на солнце медь валторны — но вся сплетенная в косицу музыка была беззвучной: как блики, пляшущие на спине воды, как ползущие по земле тени, которые отбрасывал разросшийся куст, как солнце, что нещадно пекло в затылок с двумя макушками. Вот тогда-то мальчик и сделал неловкое движение, возможно пытаясь подняться: рука сама потянулась вперед, и ветка, на которую надавила ладонь, ушла под воду вместе с продолговатым серебристым листиком и расположившимся на нем гобоистом. Одно мгновение — и только пузырьки воздуха, выдутые из инструмента, появились на поверхности. Попытался опереться на другую ветку: блеснула на солнце крученая улитка валторны и монеткой на счастье зигзагом ушла на глубину. Еще движение — и скрипач исчез со своим пюпитром, и по течению вместо скрипки поплыло сухое тело стрекозы с прозрачными крыльями. Водоворот затянул похожий на ружье фагот и гобой, поверхность речки наморщилась из-за потянувшего с берега ветерка и тут же очистилась, так как ветерок, взявшийся ниоткуда, потух. Только ветки качались, иногда касаясь воды, да капли сверкали на гладкой коре, как пот на коже, когда про-

тыкала их спица солнечного света; только откуда-то из глубины, из-под толщи реки, накрывшей своим телом илистое дно, только с этого илистого дна слышались аккорды уто-нувшей беззвучной музыки; только мальчик, сжимавший в руках сломанный пропеллер, слился с белым слепящим пятном. Ивушка, я, кажется, поняла, я только сначала испугалась, а теперь поняла: ведь это все сон. Ивушка, поэтому и оркестр расположился на продолговатых листиках серебристой ивы, поэтому и музыка одновременно беззвучна и слышна, и мальчик, нарочно или нечаянно утопив музыкантов, сам слился с солнечным пятном, ведь это сон, Ивушка, ведь ты сам сказал. Нет, я должен огорчить тебя, нет, Лигейя воображения моего, к сожалению, к прискорбию моему, ни в коем случае, ни-ни, ни в коей мере, как-никак, мало-помалу, как ни жаль, но то, о чем я тебе рассказал, поведал и сообщил, не было сном, хотя я и ввел тебя поначалу в заблуждение, но я сам видел это однажды, и тут ничего не поделаешь, Ивушка. Ивушка Плакучая, опять слышится голос твой, зачем надрываешь ты сердце мое, как беспечные руки прямо на улице надрывают пакетик лотереи-спринт, разве чужда тебе боль матери твоей, сестры твоей, жены твоей? Нет, мало-помалу нет, Лигейя моя, не чужда мне боль сердца твоего, но что-то не можется мне сегодня, но постой, почему в перечислении ты так странно употребила:

матери и сестры, разве ты Федра, а я тощий Ипполит, разве ты Клеопатра, а я пышка Птолемей, вот не знал, вот забавно! А, я понял: то, что ты сказала, надо понимать аллегорически, алгебраически, алебардически. Аллегорически — от аллегории, алгебраически — от алгебры, алебардически — от алебарды. О, алебарда, этот изысканный род оружия, с которым обычно стоят облаченные в латы стражники по бокам узорной, отделанной чеканкой двери, ведущей в царственные покои. Острая, как крик, блестящая, как бритва, узорная, как орнамент, серебряная алебарда, ты мила мне именно тем, что не воинственна, бескорыстна и бесполезна, как чистое искусство. Но алебарда, постой, причем здесь алебарда, что-то я не понимаю. Извини, пожалуйста, но я потерял нить, ты не помнишь, к чему я упомянул алебарду? Да, да, Ивушка, конечно, я напомним, но не кажется ли тебе, что ты немного, несколько, совсем чуть-чуть, но устал, утомился, нуждаешься в отдыхе и освежающем сне? Знаешь что: давай ты сейчас соснешь часок-другой, а я пока покараулю. Да, да, укройся как следует простыночкой, подоткни ее под себя с бочков и покемарь, а я пока займусь кой-какими женскими, но необходимыми делами, как-то: поставлю воду для бигудей, смотаюсь на секундочку в магазин, и потом, у меня что-то тянет низ живота. Но как же так, ведь я еще ничего тебе не рассказал, самое главное —

мы еще ни о чем с тобой не поговорили: ни о том, что нового сообщил через меня мой голос и почему я не могу и должен. Ни о наших интересных беседах с моим новым приятелем Маятником, который совсем не обижается, если его так зовут, а все к нему только так и обращаются, ибо, как он признался, ему совершенно все равно, как к нему будут обращаться и называть, ибо ему вообще все равно: будут ли к нему обращаться или нет; но кажется, он очень мило воспринял то, что я ему открыл о себе, ничуть не удивился, не сделал ни квадратных, ни круглых глаз, не издал звука изумления или удивления, осуждения или непонимания, он вообще не издал никакого звука, когда я открыл ему свою миссию, только как-то загадочно посмотрел на меня своими мягкими миндальными глазами, матовыми, как замша, и глубокими, как глаза некоторых женщин, некоторого поведения и нравов, некоторой биографии и телосложения, хотя он, в некотором роде, совсем не женщина, а наоборот, ты понимаешь, что я хочу сказать; но он так внимал моим словам, так задумчиво покачивал головой своей, выражая сочувствие своим худым, можно сказать, изможденным, но с печатью некоторой значительности лицом, посмотрела бы ты на эти выпуклые надбровные дуги, выпирающие, точно оглобли, этот вытянутый затылок и высокий узкий лоб, запавшие щечки, что-то от отшельника, эти тонкие презрительные

губы, отзывчивые, как телефонная мембрана, и, конечно, нос с горбинкой и мефистофельский подбородок; и эта грусть в глазах его, неизбывная, что даже не с чем сравнить ее, неизбывная, как белый цвет или белый свет, да, да, именно белый свет. Знаешь, как говорят, на всем белом свете. Но, Ивушка, погоди, пожалуйста, как же так, не понимаю, не может быть, никак нет, ведь ты рассказывал мне о нем, и не раз, и познакомился ты с ним не вчера, а давно, то есть я хотела сказать, что ты расскажешь о нем, когда проснешься, и мне всегда очень интересно, как в первый раз, только теперь освежи себя сном и закрой поскорее глаза. А о сыне его я тебе рассказывал? И о сыне расскажешь. Рассказывал? Расскажешь. Лигейя сна моего. Спи, Ивушка. Лигейя. Ивушка Плакучая. Я. Ивушка Плакучая. Да.

Тот дом, сударь, стоял за городской стеной, рядом с узким висячим мостиком, что застежкой перехватывал два берега реки у поворота пыльной дороги, ведущей из города в гору. Дом под черепичной кровлей, двускатной и красной, и почти неприметный с дороги из-за роскошного, густого, точно кисель, сада, затягивающего изысканное жилище с колоннами в воронку своего зеленого водоворота. Минутку, милостивый государь, извините, что перебил, но эта река — Кедрон, не правда ли? Неважно, не имеет значения,

прошу не перебивать, но если вы так настаиваете, то да, река тогда звалась Кедрон. Хотя какая там река: ручей, обыкновенный ручей, необыкновенный ручей, сбегаящий с гор, прозрачный и хрустальный, чуть ниже по течению разливался в живописное озеро, уютное озерцо, совсем чуть-чуть заросшее по берегу щетиной камыша, с одноглазыми белыми кувшинками, которые плавно покачивались на стройных ножках, и трактором, что притулился у развилки горько-пыльной дороги, где я и увидел ее, Магду, когда шел от городских ворот со свертком кож под мышкой, по обочине желтой дороги, чтобы поднимать меньше пыли, но пыль клубилась у ног, горько пахла полынью, оседала на пожухлых от зноя ушастых лопухах и придорожном кустарнике, на плечах и голове, попадала в рот и скрипела на зубах. Милостивый государь, я не понял, та женщина, о которой вы говорите, стояла, сидела, проходила мимо? И потом — во что она была одета, пожалуйста, если не трудно, расскажите подробней. Да, несомненно, я так и собирался сделать: просто мне хотелось отметить запах полыни, исходивший от поднимаемой ногами пыли, когда я увидел ее, Магду, в первый раз; она сидела под тракторным навесом в компании городских повес, одного из них я знал — сынок фабриканта мебели; на земле, неподвижная от жары, лежала лилово-чернильная тень, а в глубине навеса, поло-

жив головы на сложенные вместе руки, спали два римских солдата с багровыми лицами. Да, сударь, должен отметить, обратите внимание, это очень важно, я не собирался смотреть в их сторону, не мое, сына башмачника, дело, как веселятся под трактирным навесом в самую жаркую пору буднего дня; все произошло случайно: ящерка легким телом юркнула у самых ног, чтобы не наступить, я споткнулся, поднимая клубы раскаленной пыли, и услышал взрыв грубоватого женского хохота, поднял глаза, увидел хохочущее лицо Магды, расплывающиеся розовые пятна физиономий ее спутников, удивился ее серьезным печальным глазам, спорящим с захватской улыбкой, пыль попала в нос, и так резко пахнуло полынью, что слезы на мгновение расстроили зрение. Минутку, милостивый государь, извините, что перебил, но та, кого вы назвали Магдой, как она была одета, сколько ей было лет, какого цвета волосы? И потом, простите, я не понял, тогда, под навесом трактира, вы увидели ее впервые или знали ее и раньше? Да, сударь, вполне разделяю ваше нетерпение: да, да, конечно, вероятно, вы уже догадались, я действительно увидел Магду в первый раз, но после большого перерыва по истечении длинной, как старушечье жевательное движение, эпохи, в конце долгого туннеля длиною более чем десять лет, ибо некогда, не здесь, совсем в другом городе, но были знакомы, росли

вместе, все втроем, я, Иегошуа и Магда, которая, хотя была младше лет на семь-шесть, таскалась всегда с нами: неразлучная литературная троица, что-то вроде шарльдекостеровских Тиля, Неле и Ламме, только именно я любил Магду, хотя жалкими голодными глазами она смотрела не на меня, а на него, а он, худой и молчаливый Иегошуа, не любил никого: ни меня, ни ее, а просто терпел, ведь это всегда заметно, чувствуется, не правда ли, тем более что он и не скрывал. Да, сударь, была прекрасная пора, пора цветений и открытий, загадок и отгадок, цветов боярышника и урюка, любви и ревности, бесед и молчаний, женских запястий и легких платьев, трагедий и разочарований, тепла и холода, купаний и омовений, гор и лесов, улыбок и гримас; пора, когда женщина вылупляется из девушки внезапно, точно выходит из-за прозрачной занавески; прекрасно, сударь, на всю жизнь запомнил тот случай, как это произошло, когда мы, возвращаясь лесной дорогой домой, случайно попали под дождь, и Магда, решив просушить волосы, которые еще ни разу не подрезала, распустила прическу, и они рассыпались по плечам густой каштановой волной, заскользили как лавина, закрывая тонкие руки, девически припухлую грудь и спину сплошной пеленой: невозможные, невероятные, небывалые волосы, виденные мною всего раз, доходящие до круглых испачканных коленок, и ее жест, отто-

ченно женский: согнутая в локте рука поправила и приподняла волосы с затылка, высвобождая еще — представляете, тяжеленная пенная грива, она могла бы снять платье, как леди Годива, и шалаш волос скрыл бы полностью ее наготу, — и из-под руки вопросительно взглянула не на меня, хотя до ее волос и наготы, поз и струнной грации дело было только мне, а на него, Иегошуа, который даже не повернул головы и продолжал сидеть, прислонясь спиной к стволу дерева: с ранних лет он мучился животом, после еды начинались рези, слабость желудка, пил настои трав, но тщетно, уже с двадцати лет начал редеть волос, все не в радость, мать, тетка Мария, баловала его как могла, ей нагадали, что сына надо беречь, поэтому тряслась над ним, словно курица над яйцом: болезный ты мой; мне же с одиннадцати лет приходилось помогать отцу: дубил, сушил и красил кожи, кормил волов, которых мы держали, затем заказов стало меньше, их поток оскудевал, точно струйка в песочных часах, отцу грозил долговой ошейник, и, чтобы избежать разорения, был затеян переезд в столицу, где дела отца сначала пошли в гору, ибо руки, сударь, он имел, несомненно, умелые, но характер толкал на рискованные авантюры, не успев развернуться как следует, взялся за слишком крупный заказ для челяди наместника Тиберия, а сам просидел над узорными сафьяновыми ремешками для сандалий жены соседа,

заказ был сдан не в срок, неустойку выплачивать было нечем, и ранним утром, покинув дом, где только что, после переезда, стали обживать, перебрались в дом много худший, брошенный своими хозяевами из-за недоброй славы и стоящий за городской стеной, ибо по закону должник, покинувший город, снимал с себя долг, и, думая, что временно, поселились там навсегда,— но той ночью перед бегством из Назарета, ибо все же, что ни говори, это был не переезд, а бегство, я, сударь, и услышал то слово, которое многое могло решить и, надо сказать, решило. Ускользнув незаметно от отца, возившегося с поклажей, я вызвал Магду к изгороди, чтобы спросить обо всем в последний раз: она вышла заспанная, накинув на себя что попало под руку, и пока стояла, отделенная от меня расческой изгороди, сплетенной из прутьев, накручивала на пальчик спираль выбившейся возле улитки уха пряжки; не помню, что я говорил той ночью, помню только, как белела та половина лица, которой она была ко мне повернута, и оголенный локоть, кисть, сжатый кулачок и палец, ввинчивающийся в отставшую пряжку. Цвел боярышник, душистая тьма с прожилками запахов жалась к нам, обступала со всех сторон; конечно, уверен, не сомневаюсь, вы легко можете представить, что именно говорил и предлагал я, ибо, несомненно, был готов на что угодно, когда вспоминал, что сейчас, сию минуту

могу уехать, оставив навсегда это сонное потягивающееся тело с теплой кожей, истаявающее в ничто в двух шагах от меня; сказал ли я что-нибудь оскорбительное об Иегошуа? Вряд ли, не думаю, не было причины, причем здесь он, хотя кто знает, чем черт не шутит, возможно, сам того не желая, не отдавая отчета, пришлось к слову, не понимая, что говорю, думал о другом, очень вероятно, что-нибудь — это уж обязательно, взял — и проговорился. Вдруг — конечно, это непросто представить, не знаю, было ли в вашей личной жизни нечто подобное, напоминающее, сходное, так сказать, хотя бы в общих чертах, какое-нибудь испытание, столкновение с любимой женщиной, хотя очень вас понимаю, предвижу возражение, поправку, очень важное уточнение: что значит любимой, когда идет разговор, если позволите, повествование о двух юных созданиях, обрисованных мною пока весьма нечетко, бегло, скорописью легкого пера, нетвердым очерком, простите, чуть не сказал — воображения, но в том-то и дело, что тут никакое не воображение, а оголенная реальность, да, да, теперь припоминаемая, но именно реальность, не боясь пышного эпитета, ни с кем и ни с чем не сравнимой трагической любви: не сравнимой, ибо, вероятно, уже предчувствуемый вами, сударь, банальный треугольник не совпадает ни с одной другой геометрической фигурой страсти, включая те, которые суще-

ствовали или только будут существовать, в чем вы, надеюсь, и убедитесь, подтвердив этим мою правоту; трагической — ибо не знаю, удалось ли вам испытать когда-либо нечто подобное, так как, простите, только в этом случае вы в состоянии понять меня, но я любил ее так же сильно, как она меня ненавидела, презирала, причем и до и после, а позвольте спросить: за что, чем я мог заслужить, хотя, понимаю, вопрос мой риторический, и все же. Но, милостивый государь, а как же — «вдруг»? Вы зря расстраиваетесь, пытаетесь убедить меня, — я верю вам, несомненно, очевидно, по крайней мере — это не имеет значения, но, милый Маятник, раз вы позволили так к себе обращаться, вы употребили столь сакраментальное для рассказчика слово «вдруг»? Докажите, что это необходимо, что применение вами этого стертого, как пятак, наречия оправданно, стоит на своем месте, не может быть заменено другим. И, пожалуйста, прошу вас, не отвлекайтесь. Да, да, сударь, конечно, я так и собирался, простите. Если помните, я остановился на своем признании Магде, семнадцатилетняя девушка, знаете, эта ранняя восточная зрелость: густые широкие брови, будто сажа, выдавленная из тюбика, почти незаметная ретушь на верхней губе, миндалевидные глаза, крепкие подвижные бедра, грудь набухла в неведомом ей ожидании, и матово-белая кожа, покрытая чуть видимым пушком на внешней

стороне предплечий и голеней. Неважно, думаю, вы согласитесь, что именно я говорил: вероятно, что-то предлагал, куда-то звал, манил, в чем-то убеждал, приводил доводы, аргументы, которые, конечно, если вы хоть немного знаете женский нрав, были лишними, только мешали, давили, точно узкие туфли, причем, как понял я только позднее, раздражали они именно в той степени, в какой были правдивы, точны, истинны, и кололи ее, Магду, как улики, и это решило все дело. Хотя, конечно, видно слепому, вам уже давно понятно: никакого дела, то есть возможности, тощенькой надежды, что выгорит, как я задумал, что она согласится, ничего не было, причем с самого начала. Подумаешь, смешно сказать — подумаешь, я уезжал навсегда и поэтому предлагал невозможное, подумаешь, по сравнению с ее отцом мой отец был богач, а у нее, кроме красоты, ничего не было, подумаешь, Игошуа, о ком, конечно, только и думала она, только не говорила, ему она была нужна, как дырка в голове, как рыбе зонтик, как корове пятая нога. Не знаю, не вполне уверен, хотя хотел бы надеяться, удовлетворил ли я вас, сударь, доказал ли то, о чем вы просили, что слово «вдруг» единственно возможное в этой весьма щекотливой ситуации, ибо все выше перечисленное и было, если позволите перифразу, теми гирьками, что вывели весы из равновесия, и поднялась наверх чашечка, представляющая ин-

тересы этого единственно возможного наречия. Вот тогда-то и произошло это вдруг: после всех... Не помню, не знаю, не понимаю, как это случилось, но я, сударь, не расслышал ни единого ее слова: просто увидел, как раздулись от гнева раковинки ее маленьких ноздрей, как четким тиснением на влажной подкладке ночи проступило еще более побледневшее ее лицо, губы, сморщившись в презрительную гримасу, что-то немо проговорили, но я был глух, поверите ли, ровно на одно мгновение, ибо уже в следующее по моим барабанным перепонкам хлестали ветви раздвигаемого Магдой кустарника, скользко шелестела трава под ее ногами, потом взвизгнула прижатая доска крыльца, стукнула, коротко проскрипев, дверь, глухо отдаваясь в ребрах и суставах погруженного по горло в темноту дома, где-то на окраине лениво залаяла собака, а я стоял, прислушиваясь к распускающимся в ушах звукам, и пытался вспомнить, что именно она сказала. Нет, никакого сомнения, ни на одну секунду, и не думайте, будто я заколебался в своем приговоре, в полученном отказе, ничего подобного, он вошел в меня легко, точно кораблик сухого листа в сильный водоворот. Но почему-то, знаете, так бывает, сам не знаю зачем, некая нелепая прихоть, но обязательно захотелось вспомнить, что именно она сказала. После всех. Возможно, когда откажутся. Только не это. Что угодно, только не это. Брови изогну-

лись углом, переулком. Лучше на улицу. И рот, будто дважды глотнул воздуха. После всех. Но, милостивый государь, простите, милый Маятник, что опять перебил, но я не все понял: нет, то, что вы так рельефно рассказали, я представил себе очень отчетливо: душная южная ночь, низкое небо с жалящими звездами, которые, кажется, вырезаны из серебряной фольги, приклеенной к синей замшевой бумаге, влажный воздух, насыщенный запахами, в котором странно звучат слова и хочется говорить шепотом. И короткий разговор у околицы, быстрый взрыв капризного женского гнева, негодование женщины, посчитавшей оскорбленной себя или своего милого, а затем лепет складок женской одежды, задевающей за кусты, и тишина, прогнув спину, словно кошка, бесшумно легла у ног. Но вы, милый Маятник, я не понял, что делали вы: бежали следом, умоляя вас выслушать, крикнули что-то в спину или бросились, не разбирая дороги, куда глаза глядят? И потом — что чувствовали вы в этот момент, простите, это очень интересно, но если не хотите, можете не рассказывать, я понимаю, подобные переживания интимны, но все же — то, что вы стояли, вероятно, оглушенный и пытались точно вспомнить услышанные, а точнее, прозвучавшие слова, это очень похоже, о многом говорит, подобная тщательность понятна, своеобразное желание усилить собственную боль, мазохистское расказа-

чивание кончиком языка больного зуба, это весьма интересная деталь. Но, милостивый государь, какие вас в эту минуту обуревали ощущения: ваше сердце было разбито, ныло, точно натруженный орган, душа казалась пустой, просилась вон, вы были, что называется, вне себя, на грани отчаянья, безумия, а может быть, именно тогда вас посетила какая-нибудь примечательная мысль, так бывает, это возможно, вероятно, похоже на истину? И еще — те оскорбительные слова, которые вы услышали или нет, неважно, полученный отказ, так сказать, отставка, если позволите употребить это ироническое обиходное словцо, как повлияло все это на ваше чувство: плеснуло на него водой или спиртом, знаете ту вспышку, которую дает кружка светлого или темного, все равно, керосина, вылитая в открытое пламя, — жадный быстрый язык, яростно и бессильно лизнувший пространство; как было у вас, если не трудно, расскажите, это интригует, пожалуйста. Я понял вас, сударь, конечно, мне нетрудно припоминать все это, и, пожалуйста, не думайте, что вы меня смутите, это ваше законное право знать все, до мельчайших подробностей, ибо в них чаще всего и скрыто самое важное, загвоздка, так сказать, но я должен вас огорчить! Дело в том, что, сам не зная зачем, пытаясь точнее припомнить слова, сказанные мне ушедшей Магдой, я действительно какое-то время еще стоял, прислушиваясь

неизвестно к чему, тишина вместе с ночным туманом по-пластунски ползла по земле, где-то скрипнула калитка, слышались шаги, гравий рассыпался под подворачивающимся каблуком, по некоторым признакам чувствовалось наступление утра, знаете, сударь, эту несравненную свежесть, которая по-особому зудит и отдается в суставах, если вы всю ночь на ногах, а рассвет уже вымочил улегшуюся траву росой; и тогда я, все еще повторяя по инерции и подбирая пригодную для слуха фразу, повернулся и зашагал домой, стараясь не замочить в росе сандалий и вслушиваясь в неизвестно откуда взявшийся запах полыни. Но, милостивый государь, простите, я ничего не понял. Самое главное: что вы испытывали в эти волнующие мгновения, что испытывает на рассвете отвергнутый любовник, бредущий, несолоно хлебавши, домой; иначе говоря, вспыхнуло ли ярче ваше чувство или угасло, подавленное ее упорством? Пожалуйста, если вам нетрудно. Конечно, сударь, мне нетрудно, и медлю я по вполне простительной причине: дело в том, что я не уверен, далеко не уверен, сомневаюсь, боюсь быть не так понятым, но раз у меня нет уже другого выхода, то, пожалуйста, я попробую, хотя вы вправе считать меня неискренним, вводящим вас в заблуждение, валяющим, так сказать, дурака или просто имеющим исковерканные понятия о нежных чувствах. Но дело в том, что та женщина, которая мне отказала, Магда,

ушедшая, шелестя платьем и хлопнув дверью, как раз в этот момент, прошу мне поверить, стала мне абсолютно безразлична: поверьте, совершенно, абсолютно, почти так, будто ее и не было, а что до тех слов, которые я пытался восстановить в мозгу, то, вероятно, просто хотел припомнить ситуацию во всех тонкостях, чтобы потом спокойно исторгнуть ее из своего сознания, исторгнуть и забыть. Да, да, прошу мне поверить, как ни кажется это парадоксальным, так оно и было. Конечно, я понимаю, вы можете возразить, можете задаться вопросом: и что же он, то есть я, так больше никогда и не вспомнил свою первую любовь, так и не поинтересовался, что стало с ней и с Иегошуа, все-таки как-никак друзья детства и все такое разное? Да, несомненно, иногда, сам того желая, или, напротив, совершенно случайно, часто не к месту, занимаясь другим делом, да и потом действительно доходили слухи, но вспоминал, не буду кривить душой, находились люди, которые передавали, что Иегошуа, как я и ожидал, не получил никакой специальности, жил, держась за юбку тетки Марии, не думая ни о семье, ни о чем другом, а Магда — та совсем сбилась с пути, болтали, что сначала поступила служанкой в один богатый дом, Иегошуа все не давал ее сердцу покоя, потом там случилась непонятная история, и Магда стала той, о ком не принято говорить, хотя, уверен, вы понимаете, что я имею в виду, говоря «сбилась

с пути», с какого пути может сбиться женщина, обладающая красотой и не обладающая ничем другим, и, конечно, когда доходили такие слухи, я вспоминал и ее, и Иегошуа, и тот случай у большого камня, на развилке лесной дороги, где мы переждали дождь, и она, Магда, впервые распустила волосы, густые, невероятные, никогда таких не видел, распустила, я понимал это прекрасно, не для меня и не для того, чтобы высушить, но, простите, вынужден прерваться, прошу меня извинить, если желаете, как-нибудь потом, не сейчас, я продолжу, сюда, кажется, идут. Вас не затруднит передать мне этот листок бумаги? Я хотел бы написать письмо сыну, благодарю вас.

С чего начать, не знаю, это проблема, с чего начать? Хорошо с кем-нибудь посоветоваться, с каким-нибудь читателем, советником, сановником, приближенным, первым министром, председателем Государственной Думы или Государственного Совета. Все равно, безразлично, не с кем посоветоваться, нет ни читателей, ни Думы. Начни, говорю себе, с чего-нибудь главного, с особенно-го слова. Вот так и начну, только придумаю слово и начну. Тезоименитство. Чем плохое слово? Звучное. Длинное. Со смыслом. Тезоименитство. Так и хочется произнести его по слогам, речитативом. Так и слышится в нем звон колоколов церкви Покрова Богоро-

дицы, что катился кубарем по холмам и булыжным скатам к пристани. К пристани, где стояла на приколе уснувшая шхуна «Мария». «Мария» или «Русь» — все равно, не имеет значения, безразлично. Чешут языками колокола. Прищелкивают, цокают. Цок-цок-цок, звенят подковы, цок-цок-цок. Тезоименитство. Вы слушаете меня? Слушайте, прошу вас, слушайте. Ценность сказанного не в том, что говорю, а в том, как говорю. Я говорю по памяти, как очевидец, как право имеющий. Злые языки спросят: а имеешь ли ты, друг ситный, место, время и так далее и тому подобное? На что я отвечу просто, чтобы не волноваться попусту: рачьи и собачьи депутаты. Вот вам. Да, да: рачьи и собачьи. Только так, а вы как думали, как я его срезал, будь здоров. И тут же, пока не очухались, манифест. Всем, всем, всем. Гражданам свободной России. Мы, Божьей милостью император Белой, Малой и Всея Руси, объявляем: милостивые государи и милостивые государыни, граждане мои и подданные, хорошие мои, с такого-то года вводится истинная свобода слова, печати, собраний и мнений. В скобках: истинность проверять тут же употреблением на месте. Зычно, как право имеющий. И подпись. Император Всея Руси и одновременно свободный гражданин, который един. Конечно, подозреваю, как иначе, какой-нибудь фома неверующий обязательно спросит: ну ты, император такой-сякой, даешь, ну, ты

влево напахал: какая же у тебя свобода, если это монархия? На что я отвечу. Громким голосом, на все четыре стороны. Со снисходительной улыбкой. Не разумеете, милостивый государь, гражданин имярек: такая свобода и есть конституционная монархия, которая есть или нет, неважно, не имеет значения, ибо раз свобода — то ее свободно можно отменить. И тут же поясню. Спокойно, не торопясь. Не волнуясь. Возможно, гражданин имярек, любезный мой подданный, я, император Великой, Белой, Малой и прочее, специально вновь ввожу монархию, чтобы вы имели право ее отменить. Теперь понятно, не требует дальнейших пояснений, все темные места прояснены? А, говорит гражданин имярек, он же — фома неверующий, так вы монархию только для вывески вводите, тогда валяй, мне все равно, наше дело маленькое, разницы не вижу. Нет, нет и нет. Торжественно, но без нажима, ровным голосом без шероховатостей. Не для вывески, а на законном основании, как император Божьей милостью, как право имеющий, так, так и так. Точка, точка, запятая. Тук, тук, тук, стучит ночью ставня приземистого дома на косогоре, что стоит на перекрестке четырех ветров, в глубине сада, между проспектом и переулком одинакового названия, видимого еще издалека. От порыва ветра вздрагивает ставня в тихом двух-этажном доме на косогоре, в квадрате Вознесения, в зоне Особого Назна-

чения. Ночь. Чутко дремлет охрана, опустив лицо в воду первого сна, где плавают ленивые рыбины сновидений. Желтым дряблым светом горит одно-единственное окно на втором этаже, отбрасывая косую тень. И кто-то бродит сквозь кусты вокруг дома. Каждую ночь. Вокруг да около. Куда ни глянь. Там и сям. Ходит-бродит циркульными кругами, оставляя следы на росе, пробираясь сквозь канитель кустов и веток, по рыхлой земле вскопанных клумб. Не разбирая дороги, по пересеченной местности. Мама говорит, что у него были дырявые носки и голые желтые пятки, которые он скрывал, нося постоянно хромовые сапоги и галифе. А у нее самой был двойной лифчик из толстого полотна, два сшитых вместе лифчика, между которыми кое-что лежало: изумруды, аметисты, сапфиры, бриллианты. Как тебе бриллиантовая грудь принцессы? Она изумрудна, то есть изумительна. У него, моего папочки, были голые желтые пятки и еврейский местечковый характер, у нее, моей мамочки, потный двойной лифчик на теле и императорская кровь. Тук, тук, тук, беспокойно подрагивает на окне ставня дробным стуком ночью, от ветра. Чутко дремлет охрана, зажмурившись во сне, прислушиваясь на всякий случай к ночным звукам. Мало ли. Чтобы чего не случилось. Ни-ни. Ибо бродит кто-то вокруг да около, не разбирая дороги, по пересеченной местности, оставляя следы на росе.

Итак, вы помните, сударь, что я впервые почти за долгие десять лет увидел Магду однажды, в белый жаркий полдень, под тракторным навесом, когда возвращался со свертком кож под мышкой по пыльной желтой дороге: пыль клубилась под ногами и горько пахла полынью. Но тут я должен сделать одно признание, сам не знаю, как это получилось, неизвестно зачем, почти случайно, поддавшись непонятному порыву, вероятно, был утомлен, с какой-то досады, но я действительно ввел вас в заблуждение, описывая столь памятный разговор на околице, ночью, перед нашим отъездом из Назарета, когда, если помните, я и предложил Магде все, что мог, а она ответила мне фразой, которая тут же выветрилась из памяти, ибо я был потрясен презрительной, знаете, как это умеют делать женщины, гримаской ее физиономии, возмущенно раздувшимися раковинками ее маленьких ноздрей и побелевшей кожей оскорбленного личика, и все из-за того, что я как-то неловко отозвался об Иегошуа, которому, как вы уже поняли, было все равно, безразлично, кто и что, флегматик, мучающийся желудком; и когда она ушла, проскользнула сквозь волны расступившейся зелени, оглушительно шелестя платьем и хлопнув на прощанье дверью, то стала мне безразлична, как, сам не знаю зачем, нашло какое-

то затмение, сумерки сознания, вдруг, знаете, пережил то, что было, как сейчас, с этим холодком в спине и ватными коленями, но утверждал, ничего не поделаешь, хотя вместо безразличия на самом деле, нечего скрывать, теперь я с вами полностью откровенен, меня пронзила судорога ненависти, будто во мне разом скисла кровь, как, говорят, у женщин от испуга скисает молоко в груди. И потом каждый раз за эти десять лет, когда мне случалось вспоминать об отвергнувшей меня Магде и ее обидной фразе, должен признаться, повторялись эти припадки бессильной ненависти, и даже в промежутках между ними, как понял я впоследствии, о сударь, у меня имелось немало времени для раздумий, даже вроде не вспоминая о ней, я жил, как бы готовясь к будущей встрече, надеясь, очевидно, поразить ее своими деловыми успехами, заставить раскаяться, признать свою ошибку, слепоту, знаете, эта драгоценная сцена, вытисненная на подкладке любого мечтания: женщина, прижимая судорожно сжатые кулачки к груди, просит ее простить, сетуя на слепоту души, и шепчет: Господи, как я в тебе ошибалась, как ошибалась, Господи. Теперь, раз я решил говорить все в открытую, до конца, без прикрас, до мельчайших подробностей, я признаюсь, что всегда в этой сладостно-мучительной, точно сновидение, сцене видел себя, сударь, гордым и невозмутимым, насмешливым и трагическим муж-

чиной, отвергающим запоздалое прозрение и говорящим какую-нибудь красивую, словно рыбий плавник, фразу (как бы уравнивая этим другую фразу, сказанную Магдой памятной ночью у полуразвалившейся изгороди из ивняка), мол, да, конечно, дорогая, осуши свои слезы, я давно простил тебя, несомненно, иначе и быть не может, но, как ни прискорбно, прошлое невосвратимо, к сожалению, наши пути разошлись навсегда, тут ничего не поделаешь, и еще что-нибудь о прошедших десяти годах. Но, и это несомненно, чем более суров я был в мыслях, тем каким-то пяточным, ахиллесовым чувством острее знал, что, только предоставь мне Магда самую песчиночную надежду, я опять повторю то, что говорил и предлагал уже однажды на рассвете у ее дома в Назарете. Но, сударь, я должен прерваться, дело в том, что я в сомнении, не знаю, как быть, боюсь, что зря злоупотребляю вашим вниманием, не уверен, имеет ли смысл продолжать мое, так сказать, повествование, ибо не знаю, как это лучше выразить, но раз я ввел уже вас в заблуждение однажды, подорвав столь необходимое для меня доверие, то вы с полным правом можете сомневаться в правдивости и искренности всего дальнейшего, а это убийственно для истории, не правда ли, какой смысл рассказывать, если вам не верят, не может быть двух мнений, несомненно, ясно слепому, толку в подобном рассказе не будет.

Именно поэтому я и обращаюсь к вам с вопросом, жду вашего приговора, на который заранее согласен, так как знаю, что заслужил, это понятно, не надеюсь на ваше снисхождение, прошу вас ответить, я весь в нетерпении, пожалуйста. Нет, нет, милостивый государь, не клеветайте на себя, милый Маятник, я давно понял, это очень похоже, здесь нет ничего удивительного, настоящее чувство всегда напоминает верблюжий горб или волну: ненависть, испытанная вами к женщине, которую вы только что обожали, не менее естественна, возвышенна и прекрасна, чем предшествующее ей обожание, и только доказывает, что обожание было, имело место, присутствовало в гамме ваших чувств, ибо, не будь его, не было бы и ненависти: таким образом, первое кивает на второе, а второе, в свою очередь, на первое. Пожалуйста, не подумайте, что я считаю испытанную вами ненависть обязательно сменяющей обожание при отказе, совсем нет, прошу меня понять, возникшая на ее месте любовь была бы не менее естественна, возвышенна и прекрасна, хотя и говорила бы скорее о романтической или, я бы даже сказал, платонической подкладке чувства. Но, милостивый государь, я недаром употребил слово «обожание», ибо ваше чувство было скорее страстным, нежели воздушным. Недаром вы так рельефно описали рано набухшую грудь вашей пассивности, ее крутые подвижные бедра, огромные миндалевидные

глаза с бархатными ресницами, глаза не менее горячие, чем жаркая кожа семнадцатилетнего предмета вашего любовного внимания, а главное: волосы, густые и шикарные, как у леди Годивы, прекрасно, несравненно, чрезвычайно живописно; но — я должен вас предупредить! То, что кажется столь естественным мне, милый Маятник, необязательно должно казаться естественным для другого взгляда и, в частности, для вашего. Да, да, милостивый государь, именно так я расцениваю тот, если разрешите, ложный ход, который, можете здесь быть уверены, только подтверждает, доказывает и, я бы даже сказал, углубляет искренность вашего повествования. Действительно, для меня очевидно, не может быть двух мнений: вы на самом деле, обращаю на это ваше внимание, до самого последнего момента не знали, что подмените свое истинное чувство другим, ложным, даже не подозревали. Но ведь это прекрасно, милостивый государь, поверьте мне, прекрасно, если не сказать более. Только с ваших уст готово было сорваться признание в ненависти к женщине, которая ушла в темноту, шелестя платьем, и которую вы только что обожали, как внезапно, так кажется мне, простите, что я фантазирую, внезапно вы поняли, что испытанное вами некогда чувство ненависти необязательно, с точки зрения романтической поэзии несуразно, и, вместо того чтобы ответить искренне, вы

провели, если можно так выразиться, равнодействующую между вашим страстным чувством и платонически-воздушной любовью, не решаясь ни на одну, ни на другую крайность, вы остановились на промежуточном равнодушии. Замечательно, трудно придумать что-либо более подходящее и менее умозрительное, одновременно доказывающее вашу правоту. Так что никаких упреков, сомнений, подозрений или, как вы изволили выразиться, приговоров — ни в коем случае. Но, милостивый государь, что сказала вам Магда тогда, в жаркий полдень, когда вы увидели ее под трактирным навесом, в сомнительной компании богатых молокососов, когда вы сами шли, поднимая пыль ногами, по обочине желтой дороги? Она изменилась, вы ее узнали, произошло что-то неожиданное? И потом, прошу вас, рассказывайте так, будто вы говорите сами для себя, уверяю, я для вас лучший слушатель, пожалуйста, я жду, продолжайте. Да, да, конечно, спасибо за доверие, очень признателен, но на чем я остановился? Секундочку, я вспомнил, на запахе полыни. Солнце, стоящее высоко, пекло нещадно; пот, который стал катиться по спине, когда я пересек черту городских ворот, делал влажной рубашу, липнущую к лопаткам и под мышками, накапливался над надбровными дугами, попадал в глаза, отчего воздух, неподвижный от нависшего зноя, казался слоящимся, точно слюда. Стоящие вдоль обочи-

ны каштаны отбрасывали фиолетовые тени в виде сходящих на нет клиньев, чернильно-лиловая тень лежала на земле от козырька трактирного навеса, как вдруг у самых ног юркнула зигзагом изумрудная ящерка, я споткнулся, чтобы не наступить, знаете, это брезгливое чувство, поднимая клубы терракотовой пыли, и взрыв смеха слева, со стороны свертка кож, заставил меня приподнять голову. Вы удивитесь, действительно, прошло столько лет, но Магду я узнал сразу. Узнал, только встретившись с ее взором; широко раскрытые миндалины глаз, которые, так мне показалось, возможно, я это придумал, точно не знаю, мне хотелось, чтоб так оно и было, казались теплыми и печальными, как глаза больного животного, и спорили со злорадной улыбкой, изгибавшей змейку карминного рта; паучьи лапки морщин проступали на висках и на шее, что не скрывало даже положение чуть откинутой назад головы со свешивающейся набок тяжелой массой золото-каштановых волос. Я споткнулся, погружая самого себя в облако пыли, и как раз в этот момент ощутил ноздрями и на языке запах и горький вкус полыни; заранее хочу предупредить — вся сцена длилась не больше минуты: сгорбившись больше обычного, не понимая зачем, почти произвольно я почему-то ускорил шаг, продолжая видеть искаженное хищной улыбкой личико Магды, ее глубокие, как полуденная тень, глаза, рас-

плывающиеся физиономии ее подвыпивших компаньонов, успел заметить ленивый изгиб ее тела, скрытый ослепительно белой накидкой с вышитыми шафранной и лимонной нитками аистами, которые перекрещивались иглообразными клювами (шафранные головки и контуры, а лимонные лапки и клювы); аисты проступали ярко, словно печати, край накидки, свешиваясь через круглое колено, лежал на земле, в пыли, рядом с обувью в узорную сандалию ножкой; увидел, как Магда, чуть наклонившись, продолжая вносить лепту своего смеха в общий котел грубого застольного хохота глазющих на меня бездельников, шепнула что-то своему соседу с угольной клинообразной бородкой на худом бледном лице. «Эй, как там тебя, иди сюда!» — визгливо закричал он, сидящие рядом с ним захохотали еще громче, один из расположившихся на угловой скамейке легионеров поднял багровую физиономию, ничего не понимая и мутно поводя глазами, а потом опустил голову на сдвинутые вместе кулаки. Парило еще беспощадней, пот, казалось, покатило только сильнее; отвернувшись, я ускорил шаг. Спиной чувствуя обращенные на меня взгляды, летящий вдогонку хохот, через несколько метров я свернул направо, оставляя трактир позади. Впереди лежала пыльная желтая дорога, именно с этой точки начинающая подъем в гору. Вздохнув, ощущая воспаленным от жажды языком горький

привкус полыни во рту, я начал подъем. Но, милостивый государь, простите, я опять вас перебил, но я не понял. Разве вы с Магдой так и не сказали друг другу ни слова? И потом, никак не возьму в толк, что шепнула Магда своему спутнику с узкой черной бородкой, этому хрестоматийному злодею в античном варианте? Зачем он звал вас? И, если позволите, еще: в вашем трепетном, я бы даже сказал, взволнованном рассказе о первой встрече с женщиной, которую вы некогда обожали (кстати, я не понял: она изменилась, подурнела, обрюзгла, ее стан расплылся, буйные волосы потускнели, под бархатными миндальными глазами нависли явно не красящие мешки, как-никак десять лет, шутка сказать, приличный срок, особенно для такого нежного предмета, как женская телесная красота, или, напротив, несмотря на изменения, которые, конечно, произошли, не без этого, что поделаешь, годы, время, как говорят, берут свое, но то, что мы называем внешностью пленительной особы, могла, пусть и потеряв девическую трогательность и грациозность, приобрести лоск и таинственный шарм ухоженной женщины, которой около тридцати, которая уже устала, но зато подробнее знает, что ей надо, и это все обязательно, только нужно уметь увидеть, запечатлелось в жестах рук, в привычке взбивающим приемом поправлять пену волос и, конечно, точнее и тоньше всего, это понятно, в живых

гримасах личика, высокомерного или утомленного, насмешливого или печального, подвижного или окаменевшего); но, минутку, я же не кончил фразу о том поистине электрическом напряжении, возникшем между вами, милый Маятник, и вашей пассивностью при столь неожиданной встрече, описанной вами весьма оригинально, если не сказать мастерски. Но, знаете, никак не поверю, что вы так и расстались, что даже не попытались найти Магду в самые ближайшие дни или даже в тот же день, коль судьба впервые за десять лет свела вас вместе, смешно сказать, в одном городе, на развилке проселочной дороги, хотя и разделила расстоянием в несколько метров, если не саженой или даже локтей, между трактирным навесом и обочиной? Простите, но не может быть, чтобы вас не потянуло увидеть Магду тем же вечером. Да, конечно, сударь, вы правы, тут нечего скрывать, да я и не собирался, зачем, не вижу резона, наоборот, в моих интересах передать вам все тонкости и мотивы моих поступков, и, должен признаться, вы не ошиблись. Еще не успело стемнеть, только-только спала жара, я, придумав что-то, какую-то причину, объяснив отцу, что забыл прикупить в лавке при трактире масло для ламп и притираний, поплелся, ругая себя в душе и одновременно стараясь не давать ходу этим мыслям, в обратную сторону, то есть в сторону трактира. Знаете это чувство, когда понимаешь, что де-

лаешь не то, но не можешь не делать, глушишь в себе сомнения, точно боишься притронуться к больному месту, боишься как бы открыть глаза и увидеть то, что происходит, в истинном свете? Даже не помню, как и сколько времени занял у меня путь до трактира. Меня обманули голоса, невнятный гул которых донесли до меня волны воздуха, когда я сделал последний поворот и белые стены трактира, осененные камышовой шапкой крыши, открылись моему взору. Услышав ватный рокот голосов, я решил, что теплая компания еще там и, видно, собирается кутить до ночи. Все еще отыгрывая тощую легенду о масле для ламп, я решил, не заходя под навес, наведаться сначала в лавку, а затем, как ни в чем не бывало, обойти трактир с тыльной стороны и еще раз продефилировать мимо веселящихся посетителей. Сорвав с придорожного можжевельника пахучую веточку, я растер упругую зелень пальцами и поднес к самому носу — не знаю более резкого и освежающего запаха. На что я рассчитывал? С одной стороны, как вы уже поняли, я это подчеркивал, считая важным, отбрасывающим тень, имеющим первостепенное значение: явно, в открытую, рассудком я не давал себе никакой надежды. С другой стороны, что-то подталкивало на всю эту авантюру, давало невероятные авансы, строило куры ошалевшему, замкнутому на себя уму, заставляло делать необдуманные поступки.

О, Магда, женщина, имя которой ныло у меня в гортани при каждом вдохе, кровь шипела и прибоем билась в виски, Магда, женщина моего вдоха и выдоха, она меня узнала, безусловно, точно, никакого сомнения, не могло быть двух мнений. То, что, увидев меня, вместо приветствия, какого-нибудь кивка, легкого движения рукой, ведь как-никак, что ни говори, друзья юности, это все-таки обязывает, хотя бы во имя самых элементарных приличий, вместо всего Магда, если помните, презрительно наклонила голову, встряхнула гривой волос и что-то, несомненно ехидно, прошептала на ухо своему случайному спутнику, не смутило, напротив, было естественно, она должна была откликнуться именно так, подобным образом, как иначе, характерная женская реакция, защита нападением, говорило о многом, после долгой разлуки я встретил ее в компрометирующей компании, она, конечно, понимала, что до меня не могли не дойти слухи о ее интересной профессии, и то, что она откликнулась именно так, говорило, что мое мнение ей небезразлично, имеет значение, как-то влияет и тревожит, короче — считается. И глаза, показавшиеся печальными и глубокими, словно полуденная тень, не погасили встрепенувшийся мотылек надежды. Тут, сударь, я должен отметить, что, конечно, уверен, вы понимаете, я не думал тогда именно такими словами, я вообще старался не ду-

мать о Магде, когда с оплетенной соломой бутылью оливкового масла огибал трактир с западной стороны, со стороны кипарисовой рощицы, скорее всего, все вышесказанное — не что иное, как переложение на слова того смутного ощущения, которое шипело, создавая воронки и водовороты в крови, заставляло набухать жилы, хотя еще глубже, на илистом дне, где обитают неосознанные прозрения, что-то шептало мне, настаивая, что из моей затеи ничего хорошего выйти не может. Ощущая сырую прохладу, что струилась от белой, находящейся весь день в тени трактирной стены, я завернул за угол. Никого не было. Не поворачивая головы, боковым зрением увидел пустой стол и перевернутую скамейку, боком лежащую на земле, там, где несколько часов назад веселилась компания юнцов во главе с моей Магдой, рядом лежала надломленная веточка жасмина, оброненная, очевидно, случайно и полузатоптанная чьей-то ногой; зато в дальнем углу навеса, их-то голоса и ввели меня в заблуждение, продолжала пировать пара римских солдат, виденных здесь мной днем, к которым присоединилось еще двое товарищей. В тот самый момент, когда я, ощущая локтем тяжесть плетеной бутылки, перевернул в кулаке полученный в качестве сдачи серебряный сестерций, который почему-то не удосужился положить в кошелек, ибо торопился, сам не давая себе отчета, надеюсь, вы понимаете, хо-

тел обогнать собственную мысль, в свою очередь пытавшуюся поставить мне подножку, в этот самый момент (я только что вынырнул из-за угла, неся еще в себе воспоминание о приятной сырой прохладе, что исходила от теневой стены, ошеломленный увиденной картиной, так чревато не совпадавшей с другой, созданной моей надеждой и воображением) сидящий с краю легионер, тот самый, с багровой, точно вздутой физиономией, рыжими усиками и небритой щетиной, альбинос с маленькими медвежьими глазками и бесцветными бровями и ресницами, что-то говорил своим собутыльникам, которые отвечали нутряным хохотом на его слова, очевидно обильно сдобренные сальными островами. То ли услышав мои шаги, хотя вряд ли, маловероятно, мягкая пыль пепельным слоем покрывала дорогу, глушила их, делая бархатно беззвучными, то ли увидев мое отражение в тускло отсвечивающих латах одного из своих товарищей, но обладатель рыжих усов и багрового лица резко повернул свое крепко сколоченное, округло коренастое тело, напоминающее туловище блохи, сверкнул колючими глазками и рывкнул неожиданным тенорком: «Эй, жидок, чего прохаживаешься? Иди-ка сюда!» — повелительно взмахивая при этом коротенькой ручкой, покрытой рыжеватыми волосками, будто обсыпанной тальком. Развернувшись в мою сторону, легионеры радостно заржали. Сделав вид, что

меня это не касается, я продолжал топтать дальше, глядя себе под ноги, будто меня интересовали вспыхнувшие облака и клубы разной формы пыли, поднимаемой сандалиями, сжимая в моментально вспотевшей ладони режущий краями сестерций. Пятый легион, зачем-то повторил я про себя, заметив латинские цифры и знаки различия на кожаных шлемах, что лежали между стаканов, тут же на столе. Не хотелось связываться с пьяной солдатней. Жаловаться на них я не собирался, хотя имел право. Номер легиона я запомнил машинально, не думая им когда-либо воспользоваться. Но что странно, и хочу это отметить, возможно, с вами такое тоже бывает, осадок от неприятного инцидента с римским легионером наложился, хотя по существу не имел с ней никакой связи, на горечь разочарования от несостоявшейся встречи с Магдой, но наложился, смешался, словно песок с цементом, образуя намертво схватывающий раствор обиды, которая с изворотливой легкостью заполнила все трещины и морщины моей потревоженной души. Но, милостивый государь, простите, я только хотел спросить. Не встревожило ли вас, так сказать, повторение, эхо, движение по замкнутому кругу: ведь что странно и просто бросается в глаза, дважды за один день вы проходите по одной и той же дороге, дважды с одного и того же места вас окликают незнакомые вам люди, и дважды, не оборачиваясь,

вы делаете вид, что вас это не касается, и уходите в одном и том же направлении: с одной стороны, простите, несолоно хлебавши, с другой — так и не узнав, что именно хотели окликающие вас из-под трактирного навеса. Не знаю, как вы относитесь к магии чисел, но не пришло ли вам в голову, что в третий раз вам не удастся так легко вывернуться из чреватой ситуации, оставив тайну неопределенности за спиной? И потом, милостивый государь, простите, милый Маятник, имеется ли связь между, должен признать, весьма красочно описанным легионером, что напомнил вам блоху, и Магдой, которая одним своим коротким, точно жизнь бабочки-поденки, появлением перевернула, если позволите сравнение, ваше положение в жизненном пространстве, как песочные часы? И еще, я не понял, вы что, так и потеряли след Магды, которая исчезла неизвестно куда, растворилась в вечереющем воздухе, в спускающихся сумерках, и как повлияло на вас это странное исчезновение: огорошило, вызвало досаду, переходящую в раздражение, но раздражение на кого — на себя, что вы упустили, возможно, лишь раз представившийся случай, на нее, Магду, за то, что она так посмеялась над вами, что тоже возможно, на нечто не относящееся к делу, например на легионера с коротенькими ручками, покрытыми рыжим пушком? Поясните, если не трудно, прошу вас. Да, сударь, вы опять правы и даже подчас

удивляете меня своей пронизательностью — действительно, только на полсотню шагов хватило мне невозмутимой осанки, что являлась защитой от грубости легионеров: стоило трактиру исчезнуть из поля моего зрения, как спазма гордости освободила плечи, они обмякли, спина устало сгорбилась, и, перекладывая серебряный сестерций из вспотевшего кулака в кошелек, привязанный у пояса, я увидел белый след, выдавленный сильно сжатой монетой на ладони. Только что, подгоняемый щекоткой воображения, я шел по желтой дороге, не замечая ничего вокруг (правда, хотя угол наклона был и невелик, но я спускался с горы), теперь, возвращаясь и поднимаясь в гору, я, кажется, процеживал через свое раздраженное зрение буквально, если поверите, каждый камешек и каждый листок. Знаете, сударь, так бывает, здесь нет ничего удивительного, только потом я понял причину своей обостренной восприимчивости: оскорбленная душа, не желая ничего знать, выталкивала предметы, как жидкость — погруженные в нее тела. И опять, если позволите пример, как на лице неприятного человека мы видим все поры и уродливые волоски, так и моя наблюдательность от огорчения обрела крупнозернистость увеличительного стекла нумизмата. Сделав поворот, я поплелся по берегу небольшого озерца, которое, если помните, уже описывал, с чистой водой, будто набранной в ложку черногого

серебра, с одноглазыми кувшинками, что плавно покачивались на стройных ножках, и с щетиной камыша, постепенно заплывавшего оком. И вот тут-то произошло то, что завязало новый узелок во всей этой истории. Хочу обратить ваше внимание, подчеркнуть, выделить: возможно, вероятно, почти не вызывает сомнения, могу поклясться чем угодно — не будь в этот момент так обострена моя наблюдательность, почти наверняка на этом бы все и кончилось. Дело в том, если не ошибаюсь, я, кажется, уже говорил: сразу за озером, чуть выше его, на берегу тихого ручья стоял дом с колоннадой, окруженный густым, точно кисель, садом, что затягивал это изысканное с карминной черепичной кровлей строение в зеленую воронку своего водоворота. Старого хозяина этой усадьбы я видел всего раз, прекрасно помню, три года назад, за месяц до своего тридцатилетия, когда решился прикупить новую мебель: он носил седые пейсы, которые пальцами с желтыми плоскими ногтями часто заправлял за уши, а его сына, этого самого владельца узкой угольной бородки на желчном лице, по общему признанию, лоботряса и бездельника, я неоднократно встречал в увеселительных местах города в самое что ни есть неурочное время. Нет, сударь, я не хочу быть понятым превратно, это очень важно, имеет первостепенное значение: идя по обочине желтой дороги, я не думал об обитателях белокаменно-

го особняка, что мятно просвечивал сквозь канитель ветвей и кустов, совершенно, абсолютно они не интересовали меня. Мельком, что называется, пустым взглядом, окинул я по инерции ближний ко мне ряд можжевельных кустов, живописную аллею седых серебряных маслин и жасминовую беседку, кое-где оплетенную страстным телом плюща. Что именно первое зацепилось за крючок ассоциаций, сам точно не знаю, голова была занята другим, возможна ошибка, кажется, сначала из омута воспоминаний выплыла веточка жасмина с надломленным черенком, неведомым образом вросла в переплетение жасминовых кустов, образующих тенистую беседку, затем глаза заметили проглядывающее сквозь ветви белое покрывало с перекрещивающимися аистами на чистом фоне, а язык во рту, неизвестно как, почему, откуда, — ощутил вкус и запах полыни. Хотя нет, боюсь ввести вас в заблуждение, это очень важно, кажется, наоборот, сначала я ощутил запах полыни, затем увидел белую накидку, небрежно свисающую с жасминового куста, и только после этого волна услужливой памяти вынесла на поверхность надломленную веточку жасмина, что лежала рядом с перевернутой скамейкой под трактирным навесом. Сударь, спешу сказать, я понял все сразу. Вы хотите сказать: увидели все сразу? Нет, ни в коем случае, ни-ни, вы не так расценили мои слова, поймите, я ничего не увидел, я шел по

обочине желтой дороги, ощущая знакомый привкус полыни во рту, и ничего не видел, но знал, что и кто сейчас находится внутри жасминовой беседки, хотя, должен признаться, не слышал ни звука, но в ушах стоял влажно-гортанный смех Магды, аисты на белом поле любовно перекрещивали шпаги клювов, постепенно смеркалось, солнце зашло три четверти часа тому назад, где-то за садом свистел и журчал ручей, пыль толстым слоем, накопившись за день, покрывала сандалии, я нагнулся и провел по ним пальцем: осталась темная полоса. Но, милостивый государь, я ничего не понимаю. Что сделали вы: что-то закричали, не имея сил сдержаться, с отчаяния, в сердцах запустили в беседку камнем, просто, что есть духу, бросились вон от этого проклятого места? Нет, ничего подобного, я пошел по обочине желтой дороги, стараясь поднимать меньше пыли. Но, милый Маятник, а как же ваши прекрасные чувства: любовь и ненависть, гнев и ревность, тревога и отчаяние; что испытывали вы? Я сказал уже, сударь, я старался поднимать меньше пыли ногами. И больше ничего? Больше ничего; я шел по обочине, не оглядываясь назад. Ни разу? Нет. А потом? А потом я сделал еще один поворот, особняк с истаивающими в сумерках белыми колоннами остался за спиной, темнота, кажется, сгущалась с каждым шагом так, словно я постепенно опускался на дно, а когда потянул на себя скрипящую, точ-

но ржавое колесо, калитку изгороди, что обегала отцовский дом, на землю опустил первый черный пух ночи.

Ишь, спелись-то как, и, заметьте, каждый день: ля-ля-ля и ля-ля-ля, как супружница антонина с соседкой, что, между прочим, тоже намекает, ибо жидомор наверняка и его вербует, ага, если не уже, чтобы потом вместе на меня и накинуться, так и есть, вон опять в мою сторону смотрят, так и есть, обо мне говорят, ни-ни, и не заметил ничего, и в сторону масона этого не глядел, а на цветочки, на герань, что на окне стоит, ага, вот и ванечка ухо свое крутит, так гиппократу иванычу и скажу, шышел, мышел, вышел, что в их сторону и не глядел, а они тем временем, пользуясь моим положением, взглядом излучали, и сейчас, ах ты, опять смотрит, и я посмотрел, теперь скажут, вот он на нас специально глазет, ибо делать ему нечего, и никакой теории инфрадвижений у него и в помине нет, он ее сам выдумал, что коллеги ученые и подтвердить могут, и тут что-нибудь еще такое подпустить, чтобы запутать меня окончательно в свои масонские связи, ибо я категорически утверждаю, так и так, находясь на временном излечении, оказался и так далее и тому подобное, нет, надо как-то иначе, мол, так и так, я, конечно, глубоко извиняюсь, но, желая очистить свою биографию, да, да, да, по невозможности своей пишу, ага, из непо-

нятости своей пишу, ибо нахожусь в безвыходном положении с временным перерывом стажа научной работы, хочу признаться во всем полностью, обелив белое и подчеркнув черное (ах, масон опять смотрит, нет, надо писать подробнее, чтобы поняли и за дурака не считали), ибо я, будьте любезны, всегда из вежливой жизни ко всем относился, у меня даже привычка такая есть, ага, так и напишу, утром, к примеру, еще в своей научной жизни, встречаю в лифте еврейчика чернявенького с верхнего этажа, его еще чаще других встречаю, всякий день в своей квартире торчит (где работает, кстати, не знаю), с собачицей своей овчарицей (всегда без намордника), и сколько ни встречу, всегда ему вежливо скажу: добрый день, вот так, мол, вечером обратно встречаемся, с портфельчиком идет, я ему: здравствуйте, извиняюсь, а он с удивлением так помолчит, глянет и опять: добрый вечер, значит, как, мол, иначе можно, в одной парадной живем, ага, все люди-человеки, но я-то вижу — дистанцию выдерживает, презирует, с высот своих мысленных нисходит, а так я для него тля, плюнь да разотри, без всякого равенства, такое дело, обращаю ваше внимание, а в чем существо-то, ну, я навеселе всегда, признаю, не без этого, но по допущению, так сказать, по малости, отдыхая от научного труда душой и телом, без позволений разных, ну и что, у меня привычка, будьте любезны, есть, ага, так и напишу, пусть зна-

ют, выхожу, к примеру, на общественную кухню, где никого, кроме старухи степановны, не существует, и все равно говорю: здравствуйте, люди добрые, а эта-то, степановна, глянет, сплунет, вошь старая, и тарахтит: глаза бы мои на тебя, лешего, не глядели, срам-то, срам, что ж ты, кузьмич, в трусне на кухню коммунальную выходишь, старый ты человек, подумайте, другой бы взопрел, наорал бы, мол, посмотри, извиняюсь, сперва на себя, ты ж аппетит и тот искривляешь и так далее, а у меня в голове разное бродит, я теорией причинно-следствий озабочен, но я повернулся, честное слово, в комнате, что вторая по коридору, облачился, возвращаюсь и говорю: извиняюсь, если что не так, здравствуйте, люди добрые, степановна опять глазом стрельнула, ртом беззубым прощамкала и опять: глаза бы мои тебя не видели, идол, ага, без понятий человек проживает, окрысился на своей жилплощади, вот, и ничего знать не желает, а жалко оно, то есть, чего имею в виду, не степановну, конечно, жалко, она уже ничего не петрит, а вежливого понятия, которое, подчеркиваю, всегда уважал и которое теперь без вины пропадает, ибо я ведь ко всем так, даже к дочке своей, нинке, которая третий год как, извиняюсь, испортилась и исподлилась, мало сказать, вот, вот, десятилетку, будьте любезны, кончила и шастать начала, ну, дела, знаться с кем не следовало, а ведь каково мне на отцовском месте,

когда у нас комиссия ученая вот-вот приехать может, мол, так и так, перенимаем творческий опыт, существование такое наблюдать, ведь понятия ни у кого нет, утром спускаюсь с чебурашкой в первый раз, собачка наша, которую держим, около скамейки, где сидят бабки наши, журналистки, кто-то их прозвал, которые все про все, николая встречаю, он и сообщение делает: твоя-то уже с двумя новыми пошла, — иерархический ты человек, николай, извиняюсь, говорю, тебе болезнь твою в постели беречь надобно, а ты за ненадобностью по утрам вскакиваешь, ага, николай, ломит его, руки-ноги подрагивают, не по пьяному, он и в рот никогда не пробовал, а из-за болезни инвалидной, в детстве приключившейся, с поливитамином название сходит, ему бы к подушке прижиматься, и он туда же, я-то понимаю за что: он свою действительность предъявить желает, даром, мол, что двигаться почти не могу, ноги почти через уши ставлю, зато все примечаю и при случае выковырять из себя могу, а что примечать здесь, бедствие все, будьте любезны, примечать горазды, это точно, а здесь: вы уж разберитесь по-тщательному, как такое происходит, ну, я всегда антонине васильевне, супруге своей, говорю, антонина, не обладаешь ты вежливым пониманием, разве можно на всю улицу позорить, а она, конечно, придет изработанная на службе усталостью — и терпения для жизни не хватает, нервами сво-

ими же колется, вот, каждый вечер одинаковая история, загоняет нинку домой с улицы, те, отмечаю, если не зашли еще куда, сидят под грибком, что напротив поликлиники, в детском саду, на ночь закрываемом, на гитаре звенят и голосами гогочут, встанет посередине, я о супружнице своей, между парадной и грибком, и орет: нинка, нинка, иди домой, кому говорю, отцу плохо, а к тебе, проститутка, это к подружке обращается, что три года как завлекала, а к тебе с милицией приду посмотреть, какой притон устроили, вот, честное слово, кричит, но ближе не подходит, так как раз за ней побежали и в лифте изметелили, что антонина три дня после бюллетенила, а потом среди ночи десять раз встанет, по коридору в замочную скважину посмотреть: вернулась ли нинка, не привела ли кого к себе, однажды на кухне их вместе с хахалем застукала, видно, невтерпеж ему встало, хорошо еще малый безропотный оказался и сам спровадился, а так лихо было, вот так и напишу, ну, пусть знают, в какой обстановке открытия делают, ибо, так и так, и тут что-нибудь такое хлесткое, да, а внизу, как спустишься, степановна, вошь, извиняюсь, белая, или из старух, кто рядом у парадной целый день высиживает, обязательно выворачивать начнет: опять из нинки твоей ухажеров в лифте, паразит, изгадил, это что же делается, или убирать за вами должен кто, ни ступить, ни продыхнуть, по-хорошему, кузь-

мич, приструни, а то в жакт жалиться будем, ну что, будьте любезны, на такое скажешь, ведь возьми глаза в руки, разве нинка в лифте-то мочится, разве ей сподручно, да и разве в их одной парадной такое — это дело житейское, это везде без продыху так, нет, не хватает терпения у народа, теперь все фигурально на улице больше живут, а если как у них — центр торговый на углу, так и подавно, и ведь столько старухам этим объяснений делал, положение разъяснял, но — не понимают, хоть убей, а сами, кстати, только толкучку в транспорте создают, да, усовершенствование предлагаю, ездют куда попало, когда народ ошалелый битком набивается, я бы и закон такой издал, чтобы старух бесполезных в «пик» не пускать, я вот никуда не езжу, ибо наука, да, не терпит суеты, а они, извиняюсь, из любопытства склочного катаются, вот и еще отметить хотел, как в субботу вечером володька приехал, из-за которого и история приключилась, это тоже понимать надо, володька, антонины моей первый сын, не наш, а ее первого мужа, что с фронта не вернулся, его, когда антонина еще брюхатая была, забрали, все четыре года почти протрубил, на курском варился, геройствовал, антонина рассказывала, приезжал раз, медалями звенел, они такое любят, герои эти, а потом в конце сорок четвертого в окружение попал, две недели по лесу плутали, кору ели, ага, это потом рассказывали, половину ихних пере-

стреляли, вот, а когда на своих вышел, его тут же за ненадежность-неблагонадежность в трибунал, поговорили-приговорили, ну а характер у него нервный был, что-то повздорил, нашалил — и пропал человек, а я это так понимаю: спокойствия не хватало, ну, дергался постоянно по пустякам, пену пускал, мы же с ним всегда в соседних домах, напротив жили, вот и допускался, так и так, а я ведь тоже, будьте любезны, три годика отвоевал, знаю, как пехота, не в упрек сказано, в атаку ходит, когда винтовку из окопа высовывают и не глядя палят, ага, потому что зазря бесполезно пропадать — и вот, не пропал, скольких уж пережил, потому что попусту не пылил, не высовывался — и неприспособлен, да и зачем, мне еще в школе говорили: ты, ухов, хотя и неспособный, но другим не мешаешь (ага, это я тогда неспособным был, ибо что я потом теорию придумаю, никто и не ведал, оно, конечно, так всегда бывает, все великие люди поначалу в дураках ходят), не то что корнеев, а корнеев — это петр, петька, муж первый антонины, дружок ученический, горячая голова, для дыма и сгорела, вот, а фронтовиков теперь еще сколько хочешь есть, разве об этом думали, и до сих пор есть неговорчивые, которые фанфаронно проживают, алене, что в точке пивной торгует, на пене миллион помогают сопоставить, вот я знаю, кстати, хорошо б внимание обратить, ибо по пустомельству все, но все ругают, а я

скажу, зачем туда народец ходит, разве только чтоб глаза залить, не фигурально, не так: жизнь сообщениями друг другу разбавляют, как и николай-инвалид, что ноги через бок ставит, действительность свою предъявляют, ага, а воевать или еще чего там — так они хоть сейчас, хоть и кроют теперь все будь здоров, я здесь без солидарности, за недостаточность нашу, но есть и геройские облики, да, о чем с удовольствием сообщаю, благодаря наблюдательности, вот, к примеру, аркашка шарпов, ему руку под локоть под москвой оторвало, орденосный человек, прошлой осенью, в ноябрьские, под автобус попал, ага, было дело, помню историю с ним, в винном стояли, он рукой своей единственной две бутылки рома кубинского ухватил, но цепкость не та, одна выскользнула на пол и у ног разбилась, ну, очередь даже замерла, да, аркашка посмотрел, как течет она, пошевелил губами, а потом как шарахнет второй бутылкой об пол, да завались ты, он, извиняюсь, иначе, конечно, сказал, но не по-писаному, не могу бумагу оскорбить невежливым, да, так и так, это натура уважительная, это простор нашинский, таким еврейчикам с портфелем недоступно, да, я потом домой пришел, антонине рассказываю, она сначала засмеялась, а потом плакать начала, потому что жалеет, вот так, говорит, за что боролись — на то и напоролись, нет, будьте любезны, я ей тогда сразу, отмечаю, сказал, незаконно, антонина,

болтаешь, без понятий, извиняюсь, говоришь по-бабьи, положения не выясняешь, но это она от усталой жизни и терпения, которое истрепывается, будьте любезны, сначала в проходной целый день сиди, пропуска мелькающие разглядывай, а потом шаром по магазинам продуктовым катись, женское свое исполняя, следовательно, ага, нинка еще, существование понятное, буквально говорю, да, ну а вот соседа верхнего, что почему-то дома все время торчит и только овчарищу свою без намордника выгуливает, чего тут грешить, не очень чего-то, на масона уж больно похож, это я в книге одной читал, даже сам не знаю, что со мной делается, но проходит мимо, а у меня аж нутро поджигается, да, как начальство какое-то, напрягаюсь весь, будто обязан ему чем-то, а что, извиняюсь, вроде особенного, брючки да портфельчик, да и сам ему всегда вежливо, улыбаюсь, дверь раз открыл, здравствуйте, будьте любезны, а у самого скребет что-то, ишь, думаю, масон эдакий, развели их, душа не принимает, неприятно, вот я, ведь если мыслью напрягусь, и сам кой-чего понимаю, вот слова ломаются, так их подберу потом, подчищу, как водится, выговорить не получается, ну да это ж как, а он с высот мысленных взирает, сдержанность свою проявляет, а отношения нет, ага, чувствую, да только не сказать, но ведь это и слепому видно, ну, вот, к примеру, у нас чебурашка, с ладонь величины, а у него зверина, в

лифте не помещается, а почему, спрашиваю, почему так, чем хуже-то, и это, кстати, спокойствия не дает, разобраться бы надобно, товарищи дорогие, потому что ситуация, вот, ибо даешь национальную политику, но того, за масонами, будьте любезны, глаз да глаз нужен, да, а в субботу володька приехал, так и так, он в отца, коренева или корнеева, я уж не помню, подобием выпадает, горячечный, а от спиртного вообще мышление теряет, сам-то он грузчиком в перевозке мебели вкалывает, но деньги почти все проветривает, а когда жена из дому выгоняет, не без этого, приезжает к антонине, как к матери первой, и клянчит, ага, отмечаю, как все приключилось, и не упомню, хотя свидетельствовать могу, я среди ночи с головой тяжелой, так как уже тогда выписки делал, сами понимаете, коллеги дорогие, цитаты там, источники и разное вдохновение, творчество, короче, так и так, после серьезной научной работы на шум голосов в коридор вышел и увидел парня высоченного, в шапке котиковой ободранной, а перед ним нинка, бесстыжее женское существование, почти в одном, извиняюсь, белье, да, с мутной головы мне и привиделось, что это хахаль очередной в коридоре снюхивается, и я, сам ни о чем не думая, фигурально кусок старого карниза на котиковую шапку и опустил, вот, так и началось, так и отписываю фактически, володька меня почему-то все на лестницу выволакивал и

там руками, к мебельным сооружениям приспособленными, метелил, ага, только раз я вывернулся и на задвижку в коммунальном туалете закрылся, так как, подтверждаю, не о своей жизни заботился, а, так сказать, о коллективной, да, талант принадлежит народу, так и так, и мы не позволим, и тут что-нибудь такое добавить, мол, индивидуализм и прочее лихачество, но володька ногой задвижку выбил, до сих пор как показание оторванной лежит, и опять меня на лестницу поволок, антонина, скверно воя, в женском нижнем, на лифте вниз за помощью поехала, с ней, от ужаса подскуливая, чебурашка увязался, а ежели б не степановна, единственная на шум выскочившая, будьте любезны, переключил бы володька мое существование, мне не принадлежащее, а обществу, на другую работу, ибо он как заладил, щелкопер, это за то, что ему на работу правду о его поведении писал, так и отвязаться не мог, а я, когда отлежался, причем время просто так не терял, продолжал делать выписки и двигать теорию, ибо как раз все мысли об инфраследствиях тогда в голову и полезли, специально по всем частным квартирам ходил, пытаюсь подписи под заявлением собрать, но это пустое, не поставили, а что я такое кому-нибудь сделал, нинка говорит, мне, мол, домой из-за тебя идти не хочется, а что, разве руку когда поднял, невежливое сказал, а если отец учить не будет, куда будет течение, даже степановна, ко-

торой, значит, человеческая благодарность, и та, будьте любезны, ну, с ней понятно, у ней сын единственный пять лет назад как захлебнулся, так она и остановилась, ну, захлебнулся, смешно сказать, но медицина утверждает, лежал, естественно, под хмельком в постели, пузырек слюнный в горло попал — и к утру холодный весь, потому что болезнь у него водонепринимаемая какая-то, тогда понятно, вам, конечно, трудно, дорогие коллеги и товарищи, медицина утверждает, мол, так и так, вот, а володька, когда уходил, все грозил, погоди, мол, я тебя, щелкопера, извиняюсь, разэтакого, на куски вонючие разрежу, и подобные угрозы, а личность у него несвоевременная, искажающая, неоформленная пользой, весь в отца, коренева, а я к нему только с вежливыми понятиями, получается, за правду страдаю, как, выходит, джордано бруно, которого масоны сожгли, вот я не понимаю, разве я, извиняюсь, только о личной, подчеркиваю, пользе пекусь, я только хочу досуществовать до мысленного предела и не так, а антонина говорит, ой, глаза бы мои тебя не видели, не понимаю, не кричи, говорю, вчера целый день перебирал все свои бумаги, которые, представляю, свидетельства с жизни, и нашел листочек, нинка еще в первый класс ходила, начирканный человек и подписано — папка, а теперь так, ваши рубрики, само собой, просматриваю ежедневно и разъясняю кому могу, поэтому обращаюсь за взаи-

мопомощью и ограждением, так и так, будьте любезны, теперь попал в безвыходное положение, когда нет никакой возможности для науки, а в это время плетется разная паутина, ибо в компании самой неподходящей, о чем гиппократу иванычу не раз сообщал, но бесполезно, что намекает на уже возможную завербованность, ибо масон не дремлет, каждый день ля-ля-ля, ля-ля-ля, и я прямо головой чувствую приливы и отливы, взором вербует, а у меня есть подозрение, что ивушка, которого плакучим кличут, возможно, кличка, точно не знаю, тоже их космический агент, но им мало, они хотят главаря, вот за меня и принялись, лучи космические испускают, что с научной точки зрения понятно, так как есть подозрение, что сигналы как-нибудь, так сказать, фокусируются, а потом через их представителя, жидомора проклятого, маятника ихнего, на меня и облучают, чтобы быстрее сдался, ага, вот, пожалуйста, опять смотрит, сам только вид делает, что с ивушкой плакучей калякает, а сам только на меня и смотрит, а я нет, я вот на ванечку погляжу, он хоть и debil, ухо вертящий, буду резать, буду бить, все равно тебе водить, и рожи разные корчит, но, так и так, вот опять голова раскалывается, потому что не выдерживает напряжения, ага, вот герань на подоконнике, сейчас бумагу у гиппократа иваныча попрошу и все с памяти запишу, мы еще посмотрим, кто кого, мы посмотрим, а пока и

отдохнуть можно, вот и глаза закрою, а ты излучай, мне с закрытыми глазами ни один ма-сон, ни-ни, вот так и полежу, а ты как думал, ну-ну, только так, ага, мы тоже, так сказать, не лыком шиты, я уже того, научился с ним бороться, вот и полежу с закрытыми глазами, а потом и напишу, мол, так и так, ну ничего, слова я потом придумаю, а сейчас полежу, вот.

Но, милый Маятник, не знаю, вправе ли задавать вам вопрос: но что же было дальше? Бьюсь об заклад, что Магда не исчезла так просто с вашего горизонта, никогда не поверю, тогда не стоило и начинать, да и вы, когда упоминали о любовном треугольнике, уверяли, будто ваш случай совершенно не банальный — не так ли, я не ошибся? Да, сударь, конечно, вы не ошиблись: мы действительно стали с Магдой неразлучны как голубки, не помню, сколько дней мы почти не выходили из моей комнаты, что напротив лестницы, на втором этаже; слива, которая росла во дворе, стучала при порывах ветра в стекло, тогда либо она, либо я толкали тыльной стороной ладони раму, окно распахивалось, ветер начинал заигрывать с бумагами и легкими предметами; ибо хотя мы и не уставали в пленительных занятиях, дышать становилось приятней. Но, милостивый государь, простите, я ничего не понимаю. Разве вы были с Магдой, не знаю, как лучше и тактичней выразиться, в столь близких отношениях? Про-

стите, возможно, я не прав, но мне показалось, что в прошлый раз вы несколько скомкали конец своего повествования, которое, должен признаться, дошло до весьма щекотливого момента. Да, да, вы скомкали конец своего рассказа, как, волнуясь при важном разговоре, пальцы самопроизвольно, машинально комкают случайно оказавшуюся в руках газету. Но позвольте, как же так, ничего не понимаю. То, на чем вы остановились, никак не указывает на столь странное, если не сказать, смелое продолжение. Если помните: идя по обочине желтой дороги, вы, по только вам известным уликам, обнаружили, что буквально в двух шагах, в водовороте тенистой жасминовой беседки, Магда, женщина, предмет вашего обожания, изменяет, если так можно выразиться, ибо, как ни прискорбно, надеюсь, вы не будете возражать, что никаких обещаний, так сказать гарантий, она вам никогда не давала, но изменяет, так и быть, употребим это слово, с владельцем узкой угольной бородки и белокаменного особняка с колоннадой. Итак, вы ушли, как мне показалось, слишком, нарочито спокойно, оставляя за собой белый флаг измены в виде накидки с ало-лимонными аистами, рассыпанными по чистому полю накидки, что вызывающе висела на голой жасминовой ветке. Но, милый Маятник, каким образом Магда, недвусмысленно и неоднократно отвергавшая ваши притязания, вдруг очутилась в ва-

шей комнате на втором этаже, что напротив деревянной скрипучей лестницы, причем, если я правильно понял ваши, так сказать, намеки, в горизонтальном положении, решившись на полную, если не сказать интимную, близость с вами? Как вам удалось добиться столь скорой победы? Не понимаю, объясните. Да, конечно, очень может быть, несомненно, только так, да, да, не может быть двух мнений, так оно и было. Я действительно не помню, на чем остановился, неужели я вам не рассказывал, мы сблизились очень просто, буквально на следующий день после первой встречи, хотя это и не имеет значения, то есть не имеет значения когда — через день, два, неделю, ибо, не посчитайте за резкость, подобный хронометраж нелеп, когда, извините за красоту фразы, сквозняк безысходности отворил все двери в анфиладе событий. Простите, сударь, что я вдруг заговорил с вами в таком выпретенном тоне, сам не знаю, что на меня нашло, вам никогда не приходило в голову, что не мы, а слова выбирают нас, короче: я действительно не помню, ибо буквально сразу события навалились на меня, как наваливаются друг на друга прутья ограды, если бежать вдоль, не помню, когда именно переходил я через ручей по висячему мостику, тому самому, если изволите вспомнить, что застежкой стягивал два берега Кедрона в самом узком месте, вблизи белокаменного дома с карминной черепичной кров-

лей, у развилки дороги, ведущей в город. Солнце стояло уже высоко, но тени от кустов, что росли вдоль ручья, казались изумрудными, с черными подпалинами, до полудня оставалось не более часа, начинало парить, в воздухе висел запах цветущего жасмина, перемешанный с терпкими испарениями листьев; мостик дрожал под ногами, так как висел на двух просмоленных канатах: он был горбат, как спина фыркающей кошки; дойдя до середины, которая была наиболее неустойчива, переступая с ноги на ногу, я пошатнулся, дощатый настил побежал в сторону, и, схватившись рукой за протертый местами до блеска черно-белесый канат и ощущая ноздрями неизвестно откуда взявшийся запах полыни (возможно, мне показалось), увидел женщину, что сидела вполоборота на камне у противоположного берега, свесив ноги в воду, которая доходила ей до узких лодыжек. Услышав шум на мосту (Магда, конечно, вы уже догадались, это была она, хотя я сам, поверьте, сам не знаю почему, узнал ее не сразу, а в следующее мгновение), она резко повернулась, на какую-то секунду мы встретились глазами, и опять, как уже было, глаза, что называется, позвали меня, то есть стали глубокими, как колодец, и печальными, как болезнь; но в следующий миг порыв ветра сорвал с ее плеч белую накидку — прическа, очевидно сделанная наспех, обвалилась, волосы укутали ее туманом — и бросил, распла-

став крылья этого покрывала, на середину ручья. Не знаю, сударь, какое мнение вы успели составить о моем характере, вероятно, весьма расплывчатое, хотя здесь вина не ваша, а моя, ничего не поделаешь, возможно, моя натура представляется вам напоминающей флюгер, но это не так, поверьте, редко, если не сказать никогда, решался я на рискованный поступок, всегда не терпел необдуманных авантур, ибо перед глазами имел пример, так сказать, отрицательный своего отца, как раз поплатившегося за необузданность нрава положением аутсайдера, проще говоря, неудачника: с большим трудом, из года в год, не позволяя себе ни мига расслабления, экономя на каждой сестерции и выгадывая на каждом заказе, за десять лет мне удалось сколотить не то чтобы состояние, но если б возникла необходимость, мог и дом купить не самый последний в городе, и дело поставить так, чтобы жена, если бы, конечно, таковая появилась, палец в холодную воду не должна была б опустить; никогда не приходило в голову, но если бы спросили мой девиз, то, пожалуй, подумав самую малость, сказал: терпение и труд; знаете, как говорят: терпение и труд все перетрут; так вот, замечьте, сударь, я далеко не был уверен, что так уж обязательно и перетрут, что, мол, именно звезды этих понятий путеводные и указывают кратчайший путь, если позволите, к успеху, ничего подобного, но все равно: труд и

терпение. Уверяю вас, хотя в той, первой жизни я был простой башмачник и мысль (как стало потом) не была моей специальностью, мне не свойственно было считать, будто цель, извините за менторские выражения, важнее средства: ни-ни, и не думайте, ничего подобного, не такой уж был простак, не какой-нибудь маккавей, что смысл жизни — сама жизнь, а смысл любви — не воспроизводство, простите, себе подобного, а блаженство горения, я понимал, не без этого, пришло как-то само собой, без всякого усилия. Но тут, увидев, что слетевшая на середину ручья распластавшаяся белая накидка, намкнув, мгновенно потемнела (белый фон стал серо-сиреневым, а алые аисты — черно-коричневыми), сам не знаю, как это получилось, правда, вы можете сказать, что исключение только подтверждает правило, вдруг очутился в воде, несколько взмахов руками — и в моих ладонях забила поникая крыльями белая птица накидки. Не знаю, в состоянии ли вы мне поверить, боюсь, что вы посчитаете меня неискренним, но, ринувшись в воду, я не надеялся заслужить благодарность, ничуть, движение было совершенно бездумным: так собака бросается за кинутой в воду палкой — я же просто пожалел шикарное белоснежное покрывало, совсем не думая при этом о его владелице. Поверьте, сударь, ни одной мысли о возможных дивидендах. Конечно, милостивый государь, я

верю, что за вопрос, как иначе, если бы я вам не верил, то не слушал, и скажи я, предположим, что не верю, вы перестанете рассказывать, какой резон, конечно, несомненно, я верю, но, милый Маятник! Должен признаться, я удивлен. Никак не ожидал столь романтического пассажа в вашем повествовании. Без сомнения, это красиво: вы совершили бескорыстный, не побоюсь этого слова, героический поступок — вас за это одаривают любовью. Например, лошади, закусив удила, покрытые белой кружевной пеной бешенства, понесли, очаровательная блондинка в муаровой вуалетке забилась от страха в угол легкой коляски, спасения нет, гибель неминуема, дышла уже зависли над бездной пропасти — но в последний момент ваша железная рука хватается коней под уздцы, конечно, легко останавливает их, и незнакомка, еще бледная, но такая же очаровательная от ужаса, одаривая вас благодарным взглядом, выходит из коляски, без сил опираясь на вашу мужественную руку. Или иначе: то же самое, но вместо коляски и понесших лошадей трехпалубный пароход «Альба Регия» (или «Альфа и Омега», неважно, не имеет значения, безразлично), а вместо очаровательной блондинки не менее очаровательная брюнетка: голубое небо, синее море с прозрачной дымкой, чистый горизонт, плетеные желтые кресла и полосатые шезлонги на палубе первого класса, дамы в соломенных шляпках и

открытых платьях, мужчины во фраках; вдруг, неизвестно откуда, шторм, вихрь, смерч, налетает ураган, катит девятый вал, пароход тонет, матросы рубят мачты, седой капитан, старый морской волк, не выпуская трубки изо рта, призывает к спокойствию, женщины бьются в истерике, мужчины, отталкивая детей и стариков, сражаются из-за спасательных шлюпок, кто-то, отчаявшись, летит в воду, внезапно палуба трещит, дыра с зазубренными краями шире и шире, пароход разваливается на две половинки, затем еще на две, еще, он делится, как клетка, пока не превращается в одинокий плот посреди моря: море спереди, сзади, справа, слева, циркуль взгляда очерчивает круг горизонта, никого, плот на двоих, на нем, конечно, очаровательная брюнетка и ее любимец, черный шпиц, ловко устроившийся на пленительных коленях, вы в воде и, как истый джентльмен, помогаете плоту двигаться к неминуемому спасению, вы работаете в воде ногами, изображая ножницы, подгребаετε правой рукой (левая толкает плот) и одновременно дуєте на парус, который составлен из двух носовых платков, насаженных на нос зонтика; плот резво, как жук-плавунец, передвигается по водной глади, но ваши силы на исходе, ноги уже давно свела судорога, гребете вы одной рукой, а дуєте, изображая ветер, на парус не ртом, а носом, последние силы вас покидают, вы ловите прощальный ласково-благодарный

взгляд очаровательной брюнетки, кинутый вам, точно спасательный круг, из-под раскрытого зонтика, и, пуская пузыри, идете на дно, сохраняя на сердце отпечаток пережитого прекрасного чувства, отпечаток, что жжет, словно передержанный горчичник, тонете и шепчете: любовь всегда права. Или иначе: опять то же самое, но вместо легкой коляски и белого парохода глухая лесная дорога, а вместо блондинки и брюнетки — не менее очаровательная шатенка, почти рыжая, с густыми волнистыми волосами, вы, ничего не подозревая, едете на велосипеде, с удовольствием наваливаясь на педали и вдыхая воздух, режущий легкие своей чистотой и запахами мокрой травы и хвойных иголок, как вдруг крики, у развилки дорог на очаровательную рыжую незнакомку в длинном элегантном платье напали двое, трое, дюжина, неважно, сколько грабителей, кошелек или жизнь, честь или кошелек, жизнь или невинность, ибо, конечно, нет сомнений, дама в платье сохранила невинность, как иначе, вы вмешиваетесь, предостерегаете грабителей зычным голосом, оголенным бицепсом и трицепсом, грабители вверх тормашками летят в кусты, одна минута — и от них не осталось и следа, как говорят, след простыл, дама в слегка надорванном платье, так что левая грудь полуобнажена, она в полуобмороке и полуизнеможении, чуть жива от страха, хотя, что скрывать, испуг ей к лицу, она с восхище-

нием смотрит на вас, благодарит легким кивком, в котором вам чудится малая толика почти невинного кокетства, затем вы, забыв про велосипед, идете рядом по лесной дороге и болтаете о всякой всячине, проходя мимо предательской осины, дама неловко спотыкается, однако вы успеваете подхватить ее под локоть и дальше продолжаете путь под ручку, ах, как я испугалась, лепечут нежные губки, послушайте, как стучит мое сердце, вы слышите; после очередного поворота, не имея сил сдерживаться, делая вид, что хотите снять пылинку, вы нагибаетесь и касаетесь губами ее полуобнаженного плечика, очаровательная незнакомка уклоняется от вас, отступает на шаг и шаловливо грозит пальчиком, и тут начинается: она убегает, а вы ее догоняете, она убегает, а вы догоняете, иногда, как бы желая дать себе отдых, а вам время на раздумье, она останавливается, взволнованно дыша своей высокой грудью (левая, из-за надорванного платья, полуобнажена), и тогда вам удастся сорвать робкий поцелуй надежды, почти неслышно слетающий с лепечущих губ, мгновение — и опять все сначала: она стремительно убегает, а вы не менее стремительно догоняете, она убегает, а вы догоняете, и так бесконечно, бегая концентрическими кругами, — что еще надо, чем не жизнь, жизнь на лету, прекрасно, превосходно, несравненно, нет ничего лучше. Восторг, милостивый государь, восторг, я и не знал,

что вы романтик, это замечательно, хотя и несколько неожиданно, как бы вдруг, почти без предупреждения, метаморфоза, произошедшая прямо на глазах. Нет, сударь, не могу согласиться, вы не правы, хотя я и понял вашу иглоукалывающую насмешку, к сожалению, если бы все было так просто, но ничего подобного не случилось, если помните, я остановился, вернее, вы меня прервали в тот момент, когда я, сжимая в руках обмякшие белые крылья накидки, повернулся, мокрый с головы до пят (ручей был неглубок в этом месте, но все же), ощущая дорожки капель на лице и расталкивая коленями упругую толщу воды, пошел к сидящей вполоборота на камне Магде. Пока я шел, она кинула в мою сторону всего один легкий взгляд, настолько легкий, что шарик такого же веса, выпущенный в небо, смог бы за это время исчезнуть из глаз. Что скрывать, да я и не пытаюсь, поручкой мне, сударь, ваша проницательность, но действительно, теперь, собираясь вернуть сорванную ветром с плеч женщины накидку и ощущая неприятно липнущую к телу мокрую одежду, я совершенно машинально, если не сказать интуитивно, рассчитывал на некоторую компенсацию: смешно сказать, не знаю, поверите ли вы, что так бывает, но именно побежавшие по коже мурашки вызвали, стыдно признаться, какое-то сладкое умиление самим собой, да, да, именно быстрые зигзаги мурашек, что стянули кожу, вызвали же-

ление тепла, которое может даровать женщина, и благодарности. Не знаю, упоминали я о дне ручья, по которому брел: твердо-песчаное, ровное, с небольшой бугристой рябью, будто застыл отпечаток волны от слабого ветерка, и только кое-где, на отмелях и ближе к берегу, попадались обточенные долгим медленным течением голыши и ослизлые коряги, скорее всего, корни прибрежного ивняка. Приходило ли вам в голову, сударь, что те случайности, о которые мы спотыкаемся, в большей мере, чаще всего, случайностями не являются. Не знаю, не могу представить, как повела бы себя Магда, не произойди то, что произошло теперь, да и после, когда мысленно возвращался к пережитому, мне стало казаться, что иначе и быть не могло, вы только представьте: мокрый до мозга костей, но с разгорающимся в груди костерком надежды, что постепенно переходил в сладостный трепет, странно, но две враждующие, обычно мешающие друг другу стихии, огонь и вода, вдруг сливались в едином намеренье, как молодые любовники телами. Чем больше холодных брызг летело на меня, бредущего навстречу женщине, которую я обожал десять лет назад, а теперь, сознаюсь, даже не знал, как я к ней отношусь, ибо это понятно, все было перепутано сейчас: ревность, желание доказать что-то свое, желание обладать и обидеть в ответ на обиду, сорвать с себя отвратительную мокрую одеж-

ду; но, вы уже поняли, чем более мокрым становилось мое одеяние, тем только сильнее разгорался пламень желания в моей стынувшей крови. И вот, только представьте, когда я, сделав, не знаю, семь или восемь шагов, протянул наконец белую обмякшую, полумертвую накидку, преждевременно чувствуя награду и заранее торжествуя, протянул и впервые посмотрел на Магду, что называется, во все глаза, ибо, пока шел, тяжесть смущения не давала поднять на нее взгляд, и теперь, наивно уверенный, что, оказав услугу, поставив ее, Магду, женщину моего вдоха и выдоха, в зависимое положение, вдруг сквозь стекающие с надбровных дуг капли, отчего туманилось зрение, увидел, как изменился ее облик за это время: нет, что-то внезапно и радостно прошептало во мне: она совсем не так хороша, как я предполагал. Эти морщинки у растерянных глаз и на шее, и ничего колдовского, особенного, сводящего с ума, обыкновенная аппетитная, но и доступная бабенка, и никакой истомы, как было раньше, если помните, когда она дотрагивалась до своих фантастических волос (а меня в ответ сводила судорога желания), волос, в которые теперь была вплетена знакомая веточка жасмина. И вот тут, вы только подумайте, передавая из рук в руки накидку, я, окрыленный уверенностью и умиротворенный, ибо наваждение, как мне показалось, кончилось, будто подстроил кто специально, сделал

слишком большой шаг, споткнулся об ослиз-
лую корягу и, сам того не желая, глупо, какая-
то неуместная неловкость, поднял целую тучу
брызг, окативших Магду, и, чтобы не упасть,
схватился за ее плечо рукой. Не знаю, не
укладывается в голове, трудно себе предста-
вить, как откликнулась бы Магда, не окажись
у меня под ногами этой проклятой коряги.
Одна секунда, сударь, но этого было доста-
точно, чтобы все переменялось. Споткнув-
шись, я потерял Магду из виду, а когда, если
можно так выразиться, пришел в себя, пере-
до мной стояла другая женщина. Да, да, су-
дарь, постарайтесь представить, именно так:
ибо Магда, разогнув плавную дугу своего
тонкого стана, сбросила мою руку со своего
плеча; треугольные уголки рта высокомерно
изогнулись, глаза насмешливо сощурились,
пока я, не успевая приспособиться к быстро
меняющейся ситуации, бормотал заранее
приготовленную фразу, причем, это весьма
забавно, обратите внимание, характерная де-
таль, фраза, буквально несколько слов, была
та, что сложилась в моем мозгу, пока я брел,
предчувствуя награду, по мелководью, или
даже раньше, когда мечтал о подобной встре-
че, а вот тон или даже интонация, с которой я
лепетал запаздывающие по смыслу слова,
интонация-то как раз и соответствовала моей
растерянности, она была берегом реки моего
настроения, или, если позволите, эхом жид-
кости, повторяющим контуры пустого сосуда

моей души. Не знаю, сударь, хорошо ли я описал свое состояние, возможно, скорее всего, мне не удалось припомнить все фрагменты той памятной встречи, но подавлен, надеюсь, это понятно, я был тем, что передо мной опять стояла женщина моего вдоха и выдоха, воздух моей гортани, диафрагма моего дыхания, которое, кажется, прервалось, точно каминная тяга, если задвинуть заслонку. Да, да, передо мной стояла та, которую я обожал десять лет назад, не умея ничего с этим поделывать; теперь я находился так близко, что, когда она медленно, каким-то эллинским жестом, подняла вверх руку, показывая бритую подмышечную впадину, до меня донесся легкий, чуть слышный запах ее пота, который я сразу узнал, так пахнет нагретая солнцем арахисовая шелуха, да, да, не удивляйтесь, я не заблуждаюсь, не противоречу сам себе: за несколько шагов от нее исходил едва ощутимый запах полыни, но, приблизившись почти вплотную, я ощутил арахисовое благовоение — и в этот самый момент ее рука с узким запястьем швырнула обратно мокрую накидку, которая, влажно прошуршав, задела краем белого крыла за лицо. Но, милостивый государь, как же так? Простите, что перебил, но я не понял, что же получается, вы себе противоречите. Нет, должен признаться, что уже оценил использованный вами ложный пассаж: превосходно, несравненно, весьма ловко, вы как бы пунктиром показали воз-

можный банальный поворот, и, когда мы отклонились (ибо я, вероятно, не единственный слушатель вашей занимательной истории), как бы уравнивая силу инерции, вы совершили изысканный вираж в совершенно неожиданную сторону. Но, милый Маятник, что же вы сказали вашей пленительной пассивности после десятилетней разлуки с ее телом, ибо, как мне кажется, именно метаморфозы ее плоти, осененной нимбом волшебных волос леди Годивы, производили на вас магическое впечатление? Ведь, как я понимаю, вас нимало не заботило, чем занималась восхитительная подружка вашего далекого детства, пока вы, если я правильно понял, сколачивали, и весьма удачно, кругленькое состояние на подметках и сафьяновых ремешках, и, вероятно, не только на них, не правда ли, я разве не прав, я не ошибся? Нет, я не отрицаю, вполне возможно, что сквозь прозрачный хрустальный образ желанного тела просвечивало кое-что, так сказать, из высшей природы: ваша потребность утвердить себя, подавить, избавиться от гнетущей дамокловой тяжести отказа, пережитого вами однажды на рассвете, у околицы, когда туман уже вымочил травы росой, отведенные узкой ручкой ветви кустарника еще дрожали, постепенно успокаиваясь, а вы стояли, прислушиваясь к ползущей по-пластунски тишине, не зная, что ваша жизнь превратилась в странный минерал ожидания именно сей-

час, то есть несколько мгновений назад, так бывает, что говорить, это красиво, жизнь, как янтарное мгновение, судьба, как захлопнутый ставень, зачеркнутая страница биографии. Но, милый Маятник, если женщина, сыгравшая, простите за банальность, столь роковую роль в вашем ставне, то есть, пардон, я хотел сказать, в вашей судьбе, итак, если эта роковая женщина кидает вам в лицо свою собственную накидку как часть своего туалета (помню прекрасно, белое снежное поле, а на нем перекрещиваются клювами кроваво-алые аисты с лимонными ходулями ног), так вот, раз эта накидка, успевшая, правда, намокнуть, летит вам в лицо вместо благодарности за, можно сказать, почти героический поступок по спасению утопающей на водах (я имею в виду накидку), и, если я вас правильно понял, все из-за того, что вы совершенно случайно, не желая этого, ясно идиоту, окатили ее водой, каскадом брызг, с головы до ног, от кончиков волос до кончиков пальцев, ибо сами чуть не упали, споткнувшись об осклизлую корягу, и даже, опять же не нарочно, чтобы не рухнуть на глазах очаровательной шатенки в воду, как идиот, схватились (выбирая из двух зол меньшее, хотя не уверен, возможно — большее), но схватились, вы так сказали, за хрупкое девичье плечико почти тридцатилетней усталой женщины, а в ответ, как я уже сказал, вернее — вы уже сказали, вам в лицо летит мокрая

как не знаю что накидка, то как же вы, простите за нескромный вопрос, умудрились оказаться с ней, с этой роковой и странной особой, в настолько горизонтальном положении, что открывали поочередно, настаиваю на этом, тыльной стороной ладони раму окна в вашей комнате, что напротив старой скрипучей лестницы на второй этаж, то есть, не знаю, употребляю ли я правильное, уместное выражение, но вошли с ней, Магдой, в состояние самой интимной близости, не правда ли, я не ошибся, не так ли? Пожалуйста, если не трудно, объясните. Да, сударь, конечно, конечно, вы не ошиблись, мы действительно сошлись с ней как голубки и были так же неразлучны, словно душа и тело, жизнь и смерть, свет и тень, но, как вы уже догадались, далеко не сразу, отнюдь, сказала графиня, а не испытать ли нам кофею, то есть нет, я хотел сказать другое: отнюдь не сразу, да, да, сначала мне пришлось ее переупрямить, вы помните, мокрая накидка, задев меня по лицу, с плеском плюхнулась в воду, точно подстреленная лебедь, я замер и, знаете, так бывает, внезапно почувствовал все безразличие немотствующего вокруг пейзажа. Солнце стояло в зените, пекло нещадно, раздаривая полуденную тяжесть своих лучей пустынно-му противоположному берегу ручья, густо поросшему ивняком, с валунами, кое-где выглядывающими из воды, сухо-деревянному настилу мостика, чья спина почти незаметно

подрагивала, вспоминая порывы ветра. Сквозь кружево листвы сквозили тающие в знойном слюдяном воздухе мятлые очертания белокаменного особняка с обнаженными горлами колонн, а чуть ближе, у плоского камня, на мелководье, застыли двое, он и она, мужчина, со слегка сутулой спиной (от привычки склоняться над сапожной колодкой), с иссиня-черной бородой, с редкими струнками седины около рта, бородой, что по праздникам искусно укладывалась на сто различных завитков, напоминающих строй солдат-щитоносцев, и женщина лет тридцати со стройно-сочными формами, что просвечивали сквозь полупрозрачную желтую материю, укутывающую пружинистый изгиб тела, женщина с усталым и одновременно прекрасным и волнующе-порочным ликом, осененным пенной гривой каштановых волос с золотистым отливом, отливом и приливом, пассатом и муссоном, масоном и есеем. Не знаю, что-то печет голову, не было бы солнечного удара, не уверен, боюсь, что нет, всем существом сомневаюсь, нужно ли рассказывать, как летел в воду мокрый ком накидки и что говорил, нагибаясь за ним, мужчина с сидящей около рта бородой (темнело в глазах, когда он опускал голову вниз, будто солнце лило тяжелое жаркое золото только на них, осколки бликов разбегались в разные стороны по зеркалу ручья), как подавал, уже не разворачивая, то, что раньше было накид-

кой, обратно женщине, ехидно поджигавшей верхнюю губку, имеющую контур высокого седла, каким пользуются ассирийцы, а глаза ее при этом казались печальными и глубокими, как общественный колодец в Назарете, и как немо, точно в бреду, шевелились ее губы, и как опять и опять летело в воду свернутое улиткой покрывало, и как, не выдержав, возможно, точно не знаю, но что-то такое зовущее показалось в глазах, и, шагнув вперед, вдруг обхватил ее руками, так что затрещала и зигзагом порвалась желтая муслиновая материя на спине, погружая лицо с седеющей около рта бородой в полынный запах, исходящий от ее густо рассыпавшихся волос, и горох ее кулачков застучал словно град по крыше, и вода внезапно перестала хлюпать под ногами, женщина моего вдоха и выдоха, воздух гортани моей, кажется, шептал его язык, и ветви омелы, родившись из воздуха, вдруг больно хлестнули по векам, и ее упругое тело, прогнувшись, словно сильная рыбина на лесе, рванулось последний раз, материя с треском лопнула дальше и поползла вниз, и губы, уткнувшись в нечто мягкое, ощутили легкий солоноватый вкус и арахисовый привкус, и, когда вдруг из желтой волны показалась откровенная, как пропасть, нагота, он упал в нее с закружившейся головой. О, как любил, Ньюма, сын мой, мужчина с седеющей около рта бородой эту женщину с закрывшей свет каштановой волной

непокорных волос, у которой грудь контуром напоминала верхнюю губку или высокое ассирийское седло, как пахли арахисовой шелухой ее глубокие подмышечные впадины, когда она, изгибаясь, закидывала руки за голову и вздымалась, как пучина, перевернутая чаша ее живота, и скажи, разве так любят женщину, будто это последнее, что осталось, обожая в ней все: детский запах рта, вкус слюны, пота, выступившего на коже, все ее выделения, соль ненароком скатившейся слезы, набор телодвижений и жестов, ее крики, стоны сквозь стиснутые губы, чуть слышные звуки охрипшего голоса, жизнедеятельность всех желез внутренней и внешней секреции, если бы они были, но их, к сожалению, к прискорбию, нет, а жаль, что у женщин так мало объектов для любви и ласки, не правда ли, тебе не приходило в голову, не казалось, разве я не прав? Но, Ньюма, сын мой, разве так любят человеческую женщину?

Ивушка, Ивушка Плакучая, опять зовут и шепчут губы твои. Как тяжело мне одной жить на дне одиночества моего, не зная радости и наслаждения, бредя каждый будний день однообразной улицей своего маршрута. Да, Лигейя памяти моей, вижу, вижу твою хрупкую фигурку в черном драповом одеянии бредущей переулком со скрипкой, прижатой к груди. Медленно, то обгоняя, то отставая, вертится вокруг тебя плоская тень

твоя, милая и деликатная, бледная и молчаливая. Вот отшатнулась она от стеклянной витрины, к которой прижала ты известково-прекрасное лицо свое, вот обежала вслед за тобой лужу и попятилась от тусклого газового фонаря. Вижу тонкую руку твою, берущую с галантерейного прилавка чулки в целлофановом пакете, хрустящем, как порох, втыкающую двузубую вилку в покрытую корочкой городскую булку; вижу холодные пальцы твои, затаскивающие на ветру пуговицу в растянутое устье петли. О, Лигейя зрения моего, как стынут от ветра легкое тело твое и душа твоя, когда поздним вечером пробираешься ты в толпе от убогого кинотеатрика нашего, среди шума и огней, праздного веселья и чужих голосов, мимо собачьего хвоста очереди за билетами на последний сеанс, мимо кондитерской и кафе на углу, столпотворения у входа в подземку, и дальше, узким переулком твоего единственного маршрута, неся в себе затухающий запах натертых янтарной канифолью струн и коленкорového нутра футляра. Как я сочувствую, Лигейя моя, узкой тропе твоей, с которой не сойти, не свернуть, от бедной квартирки нашей до клеенчатого стула на эстраде кинотеатра, туда и обратно, по одним и тем же улицам, тихо стуча каблуками. Нет, Ивушка, нет, опять слышу голос твой, никто, и ты в том числе, не может знать координат одиночества моего, радиуса его и толщины. Как точка

на тонкой бумаге, проколота я ножкой циркуля: сквозит прокол, просвечивает, задувает в душу ветер кругового пространства. Разве знаешь ты, как руки мои открывают ключом дверь комнатки нашей, как, торопясь, тянут створку к себе, а взгляд уже ищет, скользит по всем углам: не стоит ли Ивушка мой за тонкой занавеской с овощным рисунком, не спрятался ли он, желая подшутить, за вешалкой у шкафа, а может, он сидит за столом, закрывшись от меня газетой? Нет нигде. А знаешь ли ты, как руки мои каждый вечер стелят крахмальное белье на постели твоей, а потом жесткой мочалкой трут тело мое для тебя, от шеи до стоп и обратно, известково-незагорелое и худое, как похудела я для тебя, Ивушка. Как стираю я потом до поздней ночи, когда спят уже соседи наши, праведники и грешники, водопроводчики и школьницы, пьяницы и члены домового комитета, знавшие тебя и забывшие, как долго трут руки мои белоснежное белье о волну стиральной доски, чтобы как-то занять себя. Ивушка Плакучая, муж мой. Знаешь ли ты об этом? Знал бы — вернулся. Что стоит тебе — нет цены горю моему, ожиданию моему, Ивушка. Вернись, шепчут губы твои, тонкие и бескровные. Ивушка, шепчут, бормочут, шелестя лепестками. Ивушка. Погоди, не надрывай конверт сердца моего, не проси, Лигейя тоски моей, чтобы не проклял я себя, суконную судьбу свою, сложившуюся попо-

лам: давит, режет жесткая складка. Лучше давай о другом. Хочешь, расскажу и развлеку тебя? Хочешь, погрустим вместе? Как-то после обеда опять видел я во сне мальчика, о котором раз говорил тебе. Маленький стриженный мальчуган в синих трикотажных трусиках, который сидел на корточках на берегу тихой лесной речки или какого-то пруда, а может быть, покинутого озера, что затерялось в лесу, или даже морского лимана с пресной желтой водой, сжимая в руках самодельный пропеллер, составленный из двух гладко обструганных реек, посередине скрепленных гвоздем. Хотя, кажется, скорее всего, если мне не изменяет память, мы решили уже, что сидел мальчик на берегу именно тихой лесной речки, ибо рядом с ним, буквально в двух шагах, ивовый куст раскинул во все стороны гибкие тонкие ветви, которые ныряют под собственной тяжестью в воду, желая утонуть, но не тонут, а лишь бороздят, создавая заводи, медленное течение речки. Помнишь, надеюсь, ты не забыла, мы решили с тобой, что мальчик, нашедший запущенный пропеллер свой воткнутом в землю, присел, устраняя повреждение (при ударе о землю лопасти могли покоситься, испытать поломку, временно выйти из строя), но так и остался в неудобной для хрупких членов позе, рядом с кустом, как рак, сползающим в воду. Одна сандалия у мальчика промокла и тихо чавкала, если он чуть-чуть, на несколько сан-

тиметров, переставлял ногу в сторону, ибо ноги затекают; но застыл он на корточках потому, что, как мы решили, услышал беззвучную музыку, исполняемую музыкантами, стоящими на долготелых плоских листиках. Однако, должен признаться, это объяснение — всего лишь гипотеза, так сказать, предположение, весьма созвучное сну, о котором я тебе рассказывал, но в другом сне, о нем-то и речь, оно кажется поспешным, спорным, требующим подтверждения. Да, возможно, вполне может быть, по-видимому, так оно и было: мальчик в синих трусиках действительно запустил свой пропеллер, который разрезал лопастями воздух с приятным по-свистом, взвился, взлетел продолжением броска, мелькая, точно спицы в велосипедном колесе, пока мальчик провожал его траекторию восхищенным взглядом, а затем, конечно, упал, зарылся в сухой, с мелкими камешками и раздробленными речными раковинами песок, отчего лопасти перекосились, и их следовало подправить. Но, должен тебе сказать, мальчик сидит на корточках на берегу, как мы уже выяснили, тихой лесной речки совсем по другой причине, никак не из-за пропеллера, ибо, обрати, пожалуйста, внимание, выправив лопасти и собираясь подняться, он вполне, а почему и нет, мог заметить с другой стороны куста (и поэтому не видящую его) обнаженную купальщицу, что выходила из воды. Нет, уверяю тебя, поверь, он совсем

не собирался подглядывать за решившей в знойный полдень искупаться в укромном месте женщиной и поэтому позволившей себе раздеться донага, ничего подобного, этот мальчик был не из числа тех мальчиков, кто через плохо покрашенное оконце в ванной подглядывает за моющейся семнадцатилетней соседкой, или из бумаги, клея и системы увеличительных стекол изготавливает домашний перископ, позволяющий познакомиться со всеми нюансами интимного женского туалета, хотя, могу поклясться, я сам некогда был мальчиком, подобное изощренное любопытство не бьет во всевозможные общественные барабаны и там-тамы тревогу, свидетельствуя о ранней порочности и испорченности, совсем необязательно, подобные барабаны поспешны. Но, ты помнишь, наш мальчик действительно случайно, услышав тихий плеск воды, поднял голову от лопастей зарывшегося в песок пропеллера и увидел выходящую из воды деву (почему, собственно, не употребить мне это стародавнее слово, если, кажется, оно подходит больше других?). Нет, это понятно, мальчик, само собой разумеется, был не в состоянии даже примерно сказать, сколько купальщице лет, определить ее возраст, она была слишком, намного старше его и была обнажена полностью, совершенно, как очищенный от коры ивовый прут; конечно, он мог бы выдать свое присутствие осторожным шорохом, например, надломить

висевшую над головой ветку куста, чтобы дева, длинноного бредущая в облаке брызг, выжимая на ходу заплетенные в небрежную косу волосы, поднимая при этом согнутую в локте руку и показывая ему золотой пушок подмышечной впадины, мокрую каштановую косу, ползущую меж девических грудей, беспечно поблескивающие на солнце круглые коленки, знала, что маленький согляда-тай в синих трикотажных трусиках поневоле, через куст, не сводит с нее потрясенных глаз, восхищенный и удрученный этим обстоя-тельством одновременно. Конечно, ты пони-маешь, будь мальчик старше, скажем, лет на десять, он с легкостью определил бы возраст бредущей по мелководью тихой лесной реч-ки купальщицы с белой, как молоко, кожей, покрытой сверкающими на солнцепеке за-понками капель; будь он, что называется, опытней и искушенней, то обратил бы вни-мание, как холодно-беспечно ее спокойное лицо, как туго, точно на барабане, натянута ее атласная кожа, какими нежными пленка-ми вспухают сосцы ее островерхих грудей, как бархатится мысок ее лона и как много по-таенных сил в ее стройной походке и женственно-томной осанке. Самое забавное, ты представляешь, это естественно, мальчик так до конца и не решил, красива или нет прошедшая сквозь ивовый куст, блеск слои-стой воды, воспаленную сетчатку его глаз дева или купальщица, кому кто, каждому

свое, такой именно навсегда и запомнилась, как брела сначала по мелководью, поднимая ногами каскад радужных брызг, затем по пепельно-желтому песку, по изумрудной — с бирюзинкой — траве, ловко переставляя маленькие ступни ног, закидывая на ходу косу за спину с проступившими подвижными позвонками, и замелькала долгоногой фигуркой между стволов уходящих в глубину леса деревьев, где-то выбралась на полянку, показавшись вся, где-то пробралась сквозь кустарник, выдвигая то локоть, то упругое бедро, то шею с грациозно посаженной головкой, постепенно, шаг за шагом, растворяясь в гуще листвы и коры, пока наконец, еще треснула ломкая сухая ветка под ногой, не исчезла совсем. Постой, Ивушка, погоди, я не поняла. Разве у вышедшей из воды купальщицы не было одежды, какого-нибудь простенького халатика или сарафана, а может быть, полиэтиленового мешочка с купальными принадлежностями, который на ходу, раз ты утверждаешь, что она не остановилась, наклонившись весьма грациозно, она могла поднять с пепельно-желтого песка, а затем, помахивая чуть отяжелевшей рукой, поженски отводя ее несколько вбок, углубиться в сумятицу кустов и деревьев? Ведь, насколько я понимаю, трепетная нагая дева, что продефилировала перед спрятавшимся за ивовым кустом мальчиком, была, очевидно, дачницей, отдыхающей в сельской местности,

или даже просто местной жительницей, решившей в знойный день искупаться в известном только ей укромном месте, что позволяло не думать о соблюдении обычно принятых приличий, пока она находилась на берегу тихой лесной речки или услаждала себя водными процедурами вперемежку с солнечными ваннами; но, согласись, Ивушка, уже идя по лесу у излучины реки, ей следовало подумать, что она не может подойти этакой наядой к даче или, тем более, показаться в таком виде на улице сельского центра, когда производственники столь утомлены страдной порой, что могут не согласиться, не так понять, выразить сомнение и оспорить. Но, Лигейя моя, к сожалению, должен огорчить тебя, я сам так думал, однако ничего не поделаешь, вышедшая из реки знойного дня дева, сверкая наготой, прошла сквозь взгляд спрятавшегося за кустом стриженного мальчугана, не обернувшись, ни разу не остановившись, только выжимая на ходу собранные в рыхлую косу волосы, и углубилась, постепенно растворяясь, в лес, так и не вспомнив ни о бумазейном или хлопчатобумажном халатике, ни о полиэтиленовом прозрачном мешочке с купальными принадлежностями, так что, мне кажется, их, этих принадлежностей, не было и в помине (уж я, поверь, моя радость, определяю — привыкла ли женская грудь к лифчику, или, как эту штуку называют некоторые острословы, к бюстгальтеру, или нет):

вышедшая из воды дева с влажной, блестящей на солнце кожей вряд ли догадывалась об их существовании. Ивушка, опять слышится голос твой, я поняла, я только сначала испугалась, зачем, зачем ты пугаешь меня, а теперь поняла: ведь это все сон, Ивушка, поэтому и дева, будь она хоть дачницей, или мещанкой, или даже жительницей сельской местности, может ходить как ей угодно, как взбредет в голову, не все ли равно, не боясь случайных встреч со строгими в этих вопросах тружениками полей, которые могут удивиться и выразить изумление, но во сне, Ивушка, вероятнее всего, это уже не имеет значения. Ведь я не ошиблась, Ивушка, и правильно тебя поняла, не так ли? Нет, я должен разочаровать тебя, Лигейя воображения моего, как ни жаль, к прискорбью моему, ты ошиблась, ибо ошибся я, введя тебя этим в заблуждение, так как, исходя из все-таки, как-никак, ни в коей мере, ни-ни, то, о чем я тебе рассказал, поведал и сообщил, как ты сама, вероятно, понимаешь, не было сном, я сам это видел однажды в знойный летний полдень на берегу тихой лесной речки, и тут ничего не поделаешь. Ивушка, Ивушка Плакучая, разлепляются и шепчут губы твои, робкие и нежные, предназначенные для лепета и шепота, не говори так, Ивушка, муж мой, прошу тебя, не надрывай конверт ужаса моего. Не говори так, просят губы твои, глаза твои, испуганные и большие, как блюдца:

прошу тебя, Ивушка, не надо, Расскажи о другом, пожалуйста, будь так любезен, о чем хочешь, о приятеле твоём новом, Маятнике, или о словах, которые ты слышишь, так как некто говорит через тебя, а ты лишь перевоодишь. Или, знаешь что, Ивушка, может, ты отдохнешь часок, ибо ты устал, и я устала, а потом мы опять встретимся с тобой и поболтаем. Я, должна признаться, тоже эту ночь провела дурно, просыпалась, вставала, за окном от ветра гудели провода, и босиком шла утолять жажду чрева своего по коммунальному коридору нашему, на цыпочках, чтобы не разбудить соседей. Гудели от порывов ветра провода, лопались какие-то пленки внутри водопроводного крана, я пила крупными глотками сырую воду забвения и брела обратно в одинокую постель свою. Да, да, это самое лучшее: отдохни, полежи часок с закрытыми глазами, возможно, освежишь себя сном, это замечательно, уверяю тебя, Ивушка. А когда ты откроешь глаза свои, муж мой, я опять буду возле тебя. Хорошо, ты согласен, я прошу тебя, сделай мне приятное, не сопротивляйся. Да, мало-помалу, конечно, Лигейя моя, я сделаю, раз ты говоришь, просишь, настаиваешь, как могу я не удовлетворить тончайшую просьбу твою, но, друг мой, ведь ты сама спросила меня о приятеле моём Маятнике, который сейчас, как и я, делает вид, что исполняет назначенный нам тихий час и лежит с закрытыми глазами, в то время как

мысли его, несомненно, не может быть двух мнений, так далеко отсюда, что даже трудно представить, ибо, сама понимаешь, я уже рассказывал, ему кажется, что он совсем другой человек, другого возраста и судьбы, обреченный на вечное и (одновременно) брренное хождение, снование, шагание, хотя, не буду скрывать, некоторые досужие умы и высказывают недостойные предположения, что ему это только кажется, будто он тот, за кого себя выдает, а на самом деле, говорят они, он всего лишь провинциальный учитель литературы из сонного провинциального городка, где, как уверяют эти скептики, он и испытал потрясение от безвременной кончины единственного сына своего, что и заставило его потерять биографию свою и найти биографию другого, за кого, как шепчут они предательским шепотом, он себя и выдает. Конечно, Лигейя веры моей, пойми, я также, а почему и нет, мог бы выразить сомнение, изобразить фигуру недоверия и умолчания, ибо, конечно, мало ли, точно неизвестно, никто и ничего, но, подумал я, согласись, не все ли равно и не все ли едино, так оно и было или только теперь кажется, если живет и рассказывает он достоверно и с увлечением, как право имеющий. К тому же, да, да, что-то я хотел сказать, ну-ну-ну, голова как-то сегодня крутится в обратную сторону, ты не помнишь, что я имел в виду, употребив это словцо — к тому же: и должно последовать

какое-то продолжение, пожалуйста, может быть, ты знаешь, буду тебе очень признателен, напomini, если тебе не трудно. Да, да, Ивушка, конечно, я напominiю, но не кажется ли тебе, что немного, несколько, совсем чуть-чуть, но все-таки ты устал, утомился, нуждаешься в отдыхе и освежающем сне? Да, возможно, ты права, но все же мне не дает покоя неоконченная мысль моя, пожалуйста, очень прошу, и я сразу засну. Хорошо, Ивушка, только обещаю. Ты, очевидно, если я правильно поняла, хотел рассказывать о сыне твоего нового приятеля, который безвременно и случайно, а потом он испытал потрясение, как право имеющий. Спасибо, Лигейя моя. А теперь спи, ты обещал. Да, Лигейя сна моего, но ты не уходи далеко. Проснусь — и мы продолжим. Спи, я покараулю, я буду рядом. Сна моего. Я рядом. Ивушка Плакучая. Лигейя. Рядом.

Да, дом стоял на косогоре, видимый издалека, на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулкa. За домом, в глубине сада, — каретник, конюшня, навес, под которым, по словам мамы, в дождливую погоду дядя Николай пилил дрова. В полковничьем мундире без крыльев погон. Спокойно, с удовольствием, засучив рукава. В густой шевелюре — ни одного седого волоса. Вжик-вжик-вжик, поет двуручная пила, переговариваясь с белотелой древесиной. Иногда

напарник — престолонаследник, но он быстро выдыхается, иногда кто-нибудь из его сестер или боец охраны. Ковер опилок, распространяя запах, проминается под ногами. Ваше Величество, говорит доктор Боткин, давайте я попилю вместо вас. Дождь капает с навеса за шиворот. Сыро, неудобно. Доктор переминается с ноги на ногу, наблюдая, как Его Величество пилит сосновые бревна. Кое-где на грубой коре застыла смоляная янтарная слезка. Поет двуручная пила, вгрызаясь в голую шею сосны. Чья-то черная кожаная фигура подпирает в глубине под навесом поленницу дров. А ночью от порыва ветра вздрагивает ставня во втором этаже. Чутко, прислушиваясь к ночным звукам, дремлет охрана, опустив голову на грудь, в воду зыбкого сна, где плавают ленивые рыбины сновидений. Бывшему Георгиевскому кавалеру, с некогда пушистыми усами, снится, что он пилит дрова с царем в полковничьем кителе, на плечах которого горят золотые крылья погон. Хорошие у тебя, братец, усы, восхищается царь, улыбаясь голубыми глазами. Рад услужить, Ваше Величество, каркает во сне бывший Георгиевский кавалер, ощущая, что усы топорщатся в разные стороны. Опять стучит ставня, налетел ветер, подул, прижал. Доктору Боткину, который перевернулся в своей постели на втором этаже, снится, что он ставит престолонаследнику Алексею очистительную клизму. Малолетний Алексей

капризен, неуклюж, имеет мягкие женские формы. Черная клизма с усилием втягивает щеки, превращаясь в плоское сердце, в тень или масленку. Вздрагивает от напора ветра ставня. Комнатной девушке Демидовой снится, что она стала царицей Александрой Федоровной, похудела, высокие скулы проступают ребрами некормленной клячи, а перед сном пожелать спокойной ночи к ней заходят ее четыре дочери, в одинаковых длинных юбках по щиколотку, с одинаковыми ридикюлями в руках. Карашо, с акцентом говорит комнатная девушка Демидова, ощущая влажный, запечатленный на щеке четвертый поцелуй, и видит, что черты одной из дочерей стали более округлыми, а под платье она зачем-то засунула диванную подушечку. Лунной ночью, в лимонном свете. В доме на четырех ветрах, в глубине сада, между конюшней и каретником, в квадрате Вознесения, редко подрагивает ставня. Желтым моргающим светом горит одно-единственное окно на втором этаже, отбрасывая косую размытую тень, и кто-то бродит вокруг да около каждую ночь, циркульными кругами, оставляя следы на росе и взрыхленной земле клумб. Уверен. Не сомневаюсь. Иначе быть не может. Какой-нибудь имярек обязательно изумится. Как же так, спросит он недоверчиво, ничего не понимая. Разве их. Ни-ни. Вопросительно. Заглядывая в глаза. Объясните. Пожалуйста. Если не трудно. Конечно. Что за вопрос. Не пом-

ню, говорил ли я, что после переезда они виделись всего раз. Случайно. В нечищенных сапогах. Когда он вечером пришел с доктором Деревенько, у которого не было ни деревца, ни деревеньки. У него были дырявые носки и желтые пятки, которые стеснялись. Кажется, наша Мария, так и так, добегалась в караулку к солдатам. С непонятной интонацией, голубоглазый полковник без крыльев погон, Александре Федоровне. Скажи ей, чтобы носила юбки пошире, уже видно, это ни к чему, пусть не знают, мало ли, точно неизвестно, возможно, подумают, растолстела. Там или здесь, вопросительно, почти равнодушно, я не поняла, еще там или уже здесь. Конечно, там, что за вопрос, там, твою мать, там, та-ра-рам, та-ра-рам. Поет двуручная пила, напевает под нос дядя Николай. Вспотело дет-ское личико бойца, не поспевающего за бывшим царем. Ночью голубоглазому полковнику снился его флигель-адъютант принц Георгий Лейхтенбергский. Они ходят вдвоем по перрону, платформе, по смолистым путям между поездами. Хрустальные осколки звезд горят над головой, на темном пологие неба. Ничего, Ваше Величество, говорит принц, не волнуйтесь очень, ведь вы не напрашивались. Пускай управляют сами, если хотят. Насильно мил не будешь. Остановившись, государь скрипит зубами, стучат колеса, он записывает. Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный

и морозный. Читал о Юлии Цезаре. Утром охрана опять нашла следы на клумбе и на земле, между кустами. Кто-то, в дырявых носках с желтыми пятками, бродит здесь после полуночи, по пересеченной местности, не разбирая дороги. Лунной ночью, залитой лимонным светом, неслышно набухают и лопаются почки. Ходит, оставляя следы на росе. Циркульными кругами, по невидимой тропе, ухает птица где-то там, за косогором, эхо несется над землей, прижимаясь тенью, распластывая крылья, пугая тишину. В кожаной тужурке, незримо кого-то напоминая, это был.

Да, сударь, я понимаю ваш вопрос о треугольнике, но об Иегошуа сначала не было ни слуху ни духу. Слух и дух, вы чувствуете, так или иначе связаны с порывами и дуновением ветра, с пневматической почтой, сквозняком, но наш дом стоял на отшибе, отделенный от города подошвой горы, поросшей мхом и лишайниками, смоквами и омелами, колючим кустарником и дикими лимонами, а мой путь в город и обратно никогда не отклонялся ни на один переулочек в сторону, и, кроме того, должен признаться, хочу заметить, меня нисколько не интересовали бесхребетные лохмотья сплетен. Да, да, чахлая опавшая листва осенних сплетен. Никогда, уверяю вас. Нет, о другом, кстати, тоже Иегошуа, ничего удивительного, имя для наших мест распростра-

ненное, болтали, так или иначе слышал, не без этого, дважды на городской бойне, где отбирали приготовленные для меня кожи и, так сказать, ненароком погрузился в стихию разговора двух крестьян, приехавших продавать виноград и за покупками с побережья, судя по гортанному говору, кажется, из Кесарии; потом на ступеньках храма, у колонны, где местный служка беседовал со своим знакомым в тюбетейке, обшитой бисером; и еще под трактирным навесом у городских ворот, когда объяснял трактирному посыльному, как доставить купленное на месяц вперед вино; я не прислушивался, но, можно сказать, почти поневоле понял, что речь идет об одном и том же начетчике, ранее никому не известном, который, выучив, как скворец, наизубок Писание, толковал его весьма парадоксально, изъясняясь присказками, выспренно и чуть ли не в рифму, что обычно, как правило, это известно, так нравится простонародью, чьей дешевой популярности он, этот Иегошуа, будто и добивался, смекнув, что на большее, не имея настоящего образования, ему трудно рассчитывать. А что касается его так называемого учения, так оно только вначале казалось построенным весьма ловко, а на самом деле, если присмотреться, там, уверяли, просто все наоборот: на черное говорится белое, а на белое — черное и так далее. Без сомнения, уверен, вы согласитесь, мне не было никакого дела до этих слу-

хов, тем более мне и в голову не приходило как-то связывать неизвестного мне Иегошуа с товарищем моего далекого детства, которого я знал, если позволите, как собственную ладонь, ничего общего, уверяю вас, тот Иегошуа был моей противоположностью: меланхолик, мучающийся несварением желудка, ничем особенно никогда не интересовавшийся, уж я-то это знал лучше других, можете себе представить, о таких говорят: ни рыба ни мясо. Сначала, пока до нас еще доходили слухи из Назарета, уже после нашего отъезда, вроде бы пытался учиться плотницкому ремеслу, недоучившись, бросил, ибо душа ни к чему не лежала, типичный байбак, больше держался за юбку трясущейся над ним тетки Марии, женщины одновременно доброй и недалекой, всплескивающей руками по каждому поводу, а чем он занимался последующие десять лет, можно представить, нетрудно, проводником или чем-то вроде пастуха, хотя будь я на месте хозяина, то не доверил бы ему и самой паршивой овцы. Но, милостивый государь, простите, мне почему-то кажется, вы несправедливы. Разве не могло так случиться, даже если вам некогда удалось узнать вашего товарища, как говорят, до мозга костей, словно он просвечивал под вашим взглядом, как ладонь, когда ее подносят почти вплотную к каминному огню, то есть вы видели его насквозь таким, каким он и был на самом деле, что необязательно, вы могли

ошибиться, так бывает, абберация зрения, но предположим, вы правы, он был таким, каким однажды отпечатался на шелковой подкладке вашей памяти, но, милый Маятник, разве не бывает, что человеческое существо меняется, вдруг, за один момент, открывая, как дверца сейфа, свою истинную природу, а тут, позвольте напомнить, десять лет, срок немалый, что ни говорите, разрешите усомниться. Да, сударь, так бывает, но... Простите, милый Маятник, но я не кончил, буквально еще несколько слов, не знаю, возможно, вам будет неприятно, но я вынужден отметить, что и раньше, во время вашего рассказа, чувствовал иногда на, так сказать, полустанках повествования, как властно прошлое вашей истории вмешивается в ее настоящее. А это, простите за консервативность пристрастий, мне кажется недопустимым. Да, сударь, вы правы, конечно, нечего скрывать, я рассказываю, делая вид, будто не знаю, что будет дальше, а на самом деле знаю, прекрасно знаю, лучше, чем кто-либо другой, но обязан быть глух и слеп, что, несомненно, трудно, не всегда удается, и тогда исчезает та невинная прозрачность, что так мила уху и глазу, и появляется некая, так сказать, трепетная мутноватость, о коей, наверно, вы и упоминали? Но что делать, сударь, что делать, я не могу быть беспристрастным. Конечно, милый Маятник, что за вопрос, но, знаете, не надо так волноваться, я уже жалею, что перебил вас,

давайте вернемся к нашему повествованию. Итак, слухи об Иегошуа, том самом, что вызубрил Писание, добиваясь дешевой популярности жителей восточной части города, и говорил нравоучительными присказками, слухи об этом Иегошуа никогда, если я правильно понял, не соединялись, не пересекались, как пересекаются железнодорожные пути на станционных переездах, с другим Иегошуа, товарищем вашей юности по Назарету, о котором десять лет до вас не доходило ни слуху ни духу. Но, милый Маятник, может быть, о нем знала Магда, ибо, как мне кажется, она, раз вы сошлись настолько близко, что тыльной стороной ладони открывали раму окна на втором этаже, могла бы в таком случае поведать или даже открыть некоторые тайны своего женского сердца или того места, где женщины хранят свои любовные впечатления. Несомненно, вы не ошиблись, конечно, сударь, так и было, вы правы, мы действительно стали с ней близки, как два стакана воды, слитые воедино, и неразлучны, как две ивы, что срослись корнями на берегу ручья, ибо, не могу не заметить, не знаю, правда, сколько дней, не имеет значения, безразлично, не помню, неделю, полмесяца, месяц, мы почти не выходили из нашей комнаты и не разлучались, за исключением, простите, когда это было необходимо, не было сил терпеть, по вполне естественной нужде, но даже тогда, должен признаться, я сопровождал ее,

делая, впрочем, вид, что занимаюсь совсем другим, например даю распоряжения прислуге или же навещаю своего бедного больного отца, которому я предоставил первый этаж, запрещая совать нос на второй, но все это тактично, я имею в виду наблюдение, которое я постоянно вел за женщиной моего вдоха и выдоха, один облик ее повергал меня в трепет, ибо, как, наверное, каждый влюбленный мужчина, я больше всего на свете боялся потерять объект любви моей, а меня, сам не знаю почему, не оставлял страх, что она, женщина моего вдоха и выдоха, может внезапно куда-нибудь исчезнуть; и поэтому старался перестраховаться, не боясь показаться нелепым. Но, простите, милый Маятник, я удивлен. Разве же это близость, если вы ни на шаг не отходите от дамы своего сердца, сопровождая ее даже туда, куда, пardon, даже царь один ходил, какая же это близость? Да, действительно, согласен, я сам задавался этим вопросом: какая же это близость, когда мы болтали, кажется, обо всем на свете, а я так ничего и не знал о ней: что и как, где и с кем, кто и когда. Но ничего не поделаешь, видно, бывает и такая близость, я просто не знаю другого слова, хотя, должен признаться, не буду скрывать, входная дверь, пока Магда жила у меня на втором этаже и мы не расставались ни днем ни ночью, так сильно было охватившее нас чувство, мне просто дикой казалась мысль — расстаться с

ней хотя бы на минуту, но, как я уже сказал, входная дверь с дверной ручкой в виде воловьей головы была постоянно на запоре, а ключ, единственный, больше ни у кого не было, даже у прислуги, и это создавало дополнительные трудности, ключ висел у меня на груди, как талисман, приносящий счастье, на тонком кожаном шнурке, запутываясь в дремучей шерсти; и иногда, прижимаясь, больно давил на ребра. Но, милостивый государь, простите, что еще раз перебил, но не понимаю, получается, женщина жила у вас на положении пленницы? Возможно, и пленница, не имеет значения, безразлично, она сама, по крайней мере, ничего мне об этом не говорила, но, сударь, позвольте заметить, нам было хорошо друг с другом, уверяю вас, не знаю, как она, но я любил и исследовал многообразную географию моей любви не менее тщательно, чем ученый-путешественник: я обожал и изучал дремучую Азию ее волос с настойчивостью Пржевальского, плавные и длинные линии стройных ног со страстью Ганзелки и Зикмунда, а божественное устье промежности кропотливо, как Маракот свою бездну, а Лаперуз свой пролив. О, я был ее пленником несколько не в меньшей степени, чем она моей, конечно, вы можете возразить, что в некотором роде это была ее специальность, если хотите, ремесло, знаете, как говорят, профессия обязывает, но не думаю, позвольте не согласиться,

вам не поверить, ни-ни, она была поглощена нашими невинными занятиями не меньше моего, я замечал, эти припадки прелестной страсти накатывали на нее постоянно, а видели бы вы, как она искренне сердилась, поженски забавно раздувая раковинки своих маленьких ноздрей, если нам мешали, можно представить, иногда поднималась с блюдом фруктов и кувшином вина прислуга, или что-то случалось на первом этаже, в отцовской половине, и меня звали вниз, она злилась необычайно. Простите, милый Маятник, но прислуга — это нужно понимать во множественном или единственном числе? И потом, если помните, несколько раз, подчеркивая разницу между собой и веселящимися в жаркий полдень под трактирным навесом богатыми оболтусами, или нет, вы сказали молокососами, если только не ошибаюсь, возможно, просто лоботрясами или даже бездельниками, но главное другое: характеризуя себя, вы использовали эпитет жалкий или даже бедный, да, да, вы так и сказали: бедный башмачник, которому не место среди пирующих в будний день повес. Но теперь, милостивый государь, мне кажется, что если хорошенько поискать на первом или втором этаже вашего дома, что одной стороной примыкал к белой, поросшей мхом кладбищенской стене, а второй выходил на дорогу, спускающуюся к ручью и придорожному трактиру, так вот, уверяю вас, если хорошенько по-

шарить в вашем доме по сусекам да тайным местам, то наверняка, уверен, можно было бы найти деревянный ларчик красного дерева с резной крышкой, доверху набитый сестерциями, и не только ими, не правда ли, я не ошибся, не так ли? И еще: очень важно, прислуга, о которой вы упоминали между прочим, была женского или мужского пола, если не трудно, прошу вас, поясните. Да, да, сударь, конечно, вы правы: действительно, с прислугой мне пришлось повозиться порядком; когда в нашем доме появилась Магда, женщину, что являлась ключницей, делающую по дому почти все необходимое, пришлось заменить; прошу заметить, специально для того, чтобы прислуживать нам, мне и Магде, я нанял трактирного слугу, причем не скупясь, ибо запросил он немало, и все только потому, что Магда не захотела, чтобы нам подавала женщина, у нее это с детства, с двенадцатилетнего возраста, всегда терпеть не могла девчонок и вертелась вокруг нас и Иегошуа, будто ей это компания, не знаю почему, очевидно, голос натуры, некое предопределение, даже забавно, честное слово, как вы находите? Не буду скрывать, да и не собирался, зачем, не вижу резона, нежелание Магды, пусть и категорическое, чтобы чужой женский взгляд заставлял ее с мужчиной в разобранной постели, можете представить себе, это понятно, не являлось, однако, единственной причиной, как бы это сказать, отставки

Симы (не помню, говорил ли я, что Симой звали нашу ключницу); ибо, так получилось, надеюсь, вы меня не осудите, я был еще достаточно молодой мужчина, и она согласилась, за совсем небольшую прибавку, удовлетворять мои простейшие мужские притязания, здесь нет ничего удивительного, думаю, вы поймете, это естественно, так бывает, хотя нанял я ее совсем по другому поводу, для моего бедного и больного отца. Если мне не изменяет память, сразу после того, как наша мать, я имею в виду свою мать и его жену, приказала долго жить, я, помня, что он требовал от нее исполнения супружеских обязанностей чуть ли не на смертном одре, нанял для него особо порекомендованную особу (как странно получилось: особо и особа), чистоплотную и знающую свое дело, младше отца лет на двадцать и почти моего возраста. Подвижная, но с чуть расплывшейся талией, волосы чернее воронова крыла и одна седая прядка, будто кто-то мазнул серебряной кистью, прядка, сползающая челкой на лоб: своеобразная дама пик, обожающая сиреневые, лиловые и фиолетовые цвета и гладкие шелковые материи. Минутку, я вас понял, вы хотите выразить мне свое, так сказать, недоумение нравами, спросить, как же так, милостивый государь, ничего не понимаю, получается, что какая-то жгучая брюнетка в лиловом и блестящем, с седой прядкой, которую она механическим жестом по-

стоянно убирала со лба, одновременно находилась в любовной связи с вами и с вашим бедным отцом, как же так, не берусь судить, но это невозможно, трудно себе представить. Однако позвольте вам возразить, что как раз пристойность, о которой, вероятно, как мне кажется, вы и печетесь, пристойность здесь совершенно не нарушалась, ибо Сима умела держать язык за зубами, и, ручаюсь, могу поклясться чем угодно, мой бедный отец не подозревал и не догадывался ни о чем, ему даже в голову не могло прийти, что он делит лилово-пиковую Симу еще с кем-то, как, впрочем, ни о чем не знал и я, то есть, прошу понять меня правильно, конечно, здесь имеется своеобразная тонкость: действительно, находясь с Симой в горизонтальном положении, как частное лицо, я не знал и не догадывался ни о чем, честное слово, ни одного подозрения в ее неверности, но, само собой, когда я становился главой дома, то есть лицом, по сути дела, официальным, то положение, естественно, менялось на сто восемьдесят градусов: знать все — была моя обязанность. Но, сударь, мне кажется, я отвлекся — при чем здесь Сима, которая обычно ходила по дому в глухом сиреновом платье, невероятно идущем к ее угольно-черным волосам и тонкому, будто вытисненному на меди профилю, если ей все равно пришлось исчезнуть в тот же день, когда по скрипучей, как подагрический сустав, лестнице я внес на руках

женщину моего вдоха и выдоха, надеясь, что она не выйдет из этого дома никогда. Да, да, несмотря на закрытую входную дверь с овальной замочной скважиной под ручкой в виде воловьей головы и запертую узорную дверцу садовой калитки (ибо чугунная ограда делала проникновение в сад невозможным), невзирая на то, что благодаря моей предусмотрительности в доме не осталось ни одного ненадежного человека, через которого Магда могла бы связаться с внешним миром с помощью письма, записки или устного сообщения, несмотря на все эти ухищрения, могу поклясться, надеюсь, вы мне верите, это точно, никаких сомнений, я любил ее сильнее, чем мужчина может любить женщину. Потому что ждал этого мгновения десять лет, почти всю жизнь, ибо еще раньше, когда это тельце было подростковым, с неуклюже-жеребьячьей грацией и жестами, уже тогда лава угрюмо сдерживаемой страсти глухо ворочалась внутри меня, мечтая выплеснуться когда-нибудь на поверхность. Но, что не менее странно, хотя почему, отнюдь, я только сейчас подумал, так должно быть, как иначе, удивительно как раз противное, однако иногда мне казалось, что она, женщина моего вдоха и выдоха, моего последнего мгновения и первого прозрения, сходит с ума и, как говорят, сохнет по мне до умопомрачения. О, должен признаться, часто во время наших безумств дом, казалось, превращался в одно напря-

женно оттопыренное ухо или покладистое, точно слепок, эхо, и водовороты нашей опочивальни закручивали в едином вихре батистовые простыни с именными метками, вышитыми желтой гладью, белую крахмальную сорочку с пеной кружев по вороту, красные чулки и пояс, которые я всегда заставлял ее надевать, разные помогающие любви предметы: деревянный таз с теплой водой на низкой римской скамье, узкогорлый кувшин синей глины с вином, что стоял под рукой внизу, генуэзскую кожаную ширму, расставленную напротив окна, за которую я некогда, расщедрившись, отдал сто восемьдесят сестерциев, на ней были изображены фарсовые картинки из жизни итальянских богов; и лаокооново объятие мутило свет в глазах у меня, Беллинсгаузена и Лазарева пленительных поз, Миклухо-Маклая нежной страсти и Грум-Гржимайло последних содроганий. И вот, сударь, именно в эти моменты, когда тело женщины моей любви и прислужницы моих маленьких прихотей изгибалось, словно тело змеи перед тем, как сбросить опостылевшую кожу, в помутившихся от исступления очах моей соратницы по крахмальному ложу я читал отсвет настоящего, клянусь всем святым, умопомрачения, и мне, признаюсь, совсем не стыдно, ничуть, ни-ни, вот еще, чего на свете не бывает, мне становилось страшно, причем как никогда ранее. Но, милостивый государь, а как же Иегошуа: я так и

не понял, вы обсуждали с той, что, если можно так выразиться, стала вашей наложницей, хотя некогда, давным-давно, посещая хедер и заплетая свои волосы в трогательные девичьи косички, была наперсницей ваших игр, куда более невинных, чем те, для которых обязательно нужен тонкий дразнящий запах крахмала и уединение, короче, спрашивали вы что-либо об Иегошуа или нет? И потом, хочу заметить: вы постоянно уводите разговор в сторону, не отвечая на поставленный вопрос, перемещаясь не по устойчивому стволу темы, а по хрупким боковым ветвям морозного узора, что проступил на оконном стекле вашей истории, я не понял, если не трудно, поясните. Да, сударь, конечно, но я как раз собирался, хотя, к сожалению, вероятнее всего, буду вынужден вас разочаровать, не помню, говорил ли я, что слухи о новом пророке по имени Иегошуа, которые никак не связывались для меня с товарищем моего детства и стороной известного вам любовного треугольника, эти слухи занимали меня в совсем другом мире, то есть до того полудня, когда, идя от городских ворот по желтой дороге мимо трактира с пологой шапкой навеса, я и ощутил высохшими от раскаленной пыли ноздрями горьковатый запах полыни, а затем увидел ту, что перевернула мою жизнь разом, словно рука банного массажиста песочные часы. Да, да, как по чудному мановению, то, что ранило мои перепонки с настой-

чивостью насекомых, вдруг, если позволите сравнение, оказалось отделенным глухой прозрачной преградой: зудящие насекомые превратились в безмолвных рыб, плавающих в аквариуме (такой аквариум устроил торговец свежей рыбой в своем заведении на улице Мартовских ид, напротив дома римского наместника, а имя торговца, если не путаю, было Ицхак). Но, простите, я опять отвлекся: надеюсь, вы понимаете, за те несколько недель, пока в золотой клетке моего на ключ запертого дома жила любезная сердцу жарптица, моя душа была полна, как бочка с дождевой водой, после того как дождь, не переставая, лил три дня. Не знаю, понятно ли это, не уверен, сомневаюсь, в подобное трудно поверить постороннему, но я оглох и ослеп ко всему, что не касалось происходящего на втором этаже, что напротив скрипучей лестницы в два пролета, и слухи об Иегошуа-пророке и об Иегошуа, товарище детства по Назарету, которые ранее меня интересовали или нет, теперь стекали лишними каплями, ибо я, поверьте, был не в состоянии их принять и заметить. Конечно, я понимаю, вы можете возразить, как же так, милый Маятник, вы противоречите — только что, буквально несколько абзацев назад, вы упоминали об ухищрениях, предпринятых вами, чтобы особа, которую вы называете женщиной своего вдоха и выдоха, очевидно намекая этим на ее незамеченность для вашего существа, не могла поки-

нуть или, иначе, проще говоря, сбежать, оставя вас, так сказать, с носом, хорошо, я понял, любовь действительно подчас, что делать, жестокая штука, но, пардон, теперь вы утверждаете, что все это время находились, если можно так выразиться, в любовной прострации, когда вам ни до кого и ни до чего не было дела, и в то же время, когда ваша страсть, между прочим, находилась в зените, вы являли чудеса деятельности, причем, замечу, хитроумной, а значит — сознательной, разве я не прав, скажите, непонятно. В том-то и дело, отвечу я вам, и, поверьте, это истинная правда, я не шучу, какие шутки, что вы, мне было не до шуток, если я и делал что-то, то по инерции, почти как лунатик на карнизе, и хочу заметить, здесь нет ничего удивительного, есть женщины, умудряющиеся заниматься во время любви рукодельем (одна знакомая аптекарша за время посещения ее супругом успела связать шапочку и кофточку), а другой знакомый, меняла, все необходимые бухгалтерские расчеты производил во время моментов близости со своими приятельницами, так что у него, научно говоря, выработался своеобразный условный рефлекс, и он даже утверждал, что это способствует обострению его умственных способностей. Нет, прошу понять меня правильно, я не собирался ни в коем случае, совсем наоборот, не подумайте, будто я в корыстных целях желал использовать приступы своей либо ее,

Магды, женщины моей диафрагмы и затрудненного дыхания, нежной страсти, ничего подобного: просто, возможно, в этом я не одинок, так получилось, что я, полностью поглощенный изучением приливов и отливов моей и ее любви, стараясь соединить их пики для, так сказать, наибольшего эффекта наслаждения, как ни странно, действительно успевал принять все меры предосторожности, предотвращая утрату моей юной прелестницы: подсказывало какое-то тайное чувство, советовало быть осторожней, но все чисто машинально, не задумываясь, ибо до всего остального мне было столько же дела, сколько влюбленному быку до бабочки или влюбленной бабочке до быка. Вы даже представить не можете, как изысканно и занятно мы с Магдой проводили время: утром, после освежающего сна, любовь, пока ее кожа еще дышала сладостными сновидениями и была полна запахов ночи, страстная любовь, затем завтрак, тут же в постели, его на подносе с цветами приносил нанятый за кругленькую сумму посыльный из трактира, затем опять любовь, после которой прогулка: ключом, что постоянно висел у меня на груди, я отпирал дверь, выходил на крыльцо, вертелся, делал вид, что смотрю на погоду и раздумываю, что надеть, а на самом деле, как вы понимаете, высматривал, нет ли в саду следов готовящегося покушения или измены, затем поднимался по скрипучей лестнице наверх за

моей лапкой, пропустив ее вперед (складки ее любимой накидки, помните, пурпурно-лиловые аисты на белом поле, призывно шелестели), спускался, опять закрывая дверь, от греха подальше, мало ли, чтобы домашние не могли сговориться с теми проходимцами, которые, я чувствовал, ночью бродили вокруг нашего дома, надеясь выкрасть мою овечку; шли по тропинке моего дремучего, точно лес, сада, тропинка кончалась, я поддерживал ее под локоток, ощущая тепло принадлежащего только мне тела, после дождя каблуки скользили по суглинку, я поскальзывался, дурак, говорила она, не поворачивая головки, вполне мило, таков был ее лексикон, ничего не поделаешь, раз в неделю я водил ее к кладбищенской стене, с которой соседствовал мой сад, от стены пахло сыростью, мокрой штукатуркой и склепом, если я поскальзывался еще раз, она говорила: мерзавец, смотри себе под ноги, боже, как ты мне надоел, конечно, вы понимаете, я не сердился, что поделаешь, не я воспитывал ее эти десять лет, и огрехи воспитания, прямо-таки провалы, какие-то дыры, заделать за несколько дней нашего восстановленного знакомства было совсем нелегко, но, должен сказать, ее хорошенький ротик довольно изысканно произносил самые неприличные ругательства (где только она их нахваталась); было весьма забавно их слушать, пидер македонский, говорила она мне утром, если успевала проснуться раньше

меня, только я открывал глаза, чтоб он отсох, твой проклятый пенис, но я только улыбался, поверьте мне, ибо знал, что это она от избытка чувств, знаете, своеобразное проявление девичьей скромности, преувеличенное представление о стыдливости; от кладбищенской стены мы опять сворачивали в глубь сада, она уже знала, куда я ее веду, к западной части парка, в водовороте фиговых деревьев, маслин, омел и олив располагалась небольшая уютная беседка, сплошь увитая паутиной дикого винограда, где нас ждал, все предусмотрено, накрытый стол: синий глиняный кувшин с вином, кринка сметаны, пирог с засахаренными смоквами и блюдо фруктов и, само собой разумеется, — разверстое ложе, взбитая, вздыбленная перина, которая застыла в позе ожидания: после легкого перекуса — любовь, затем, чтобы восстановить свои мужские силы для новых борений, я лежал почти без движения полчаса (так мне советовал знакомый лекарь), на всякий случай придерживая свою любимую за руку либо за подол платья. Прогулка закончена, кратчайшим путем, минуя поляны и лужайки моего обширного парка, мы возвращались назад, конечно, как иначе, по пути я заговаривал с моей хорошей, расспрашивал о прожитой без меня жизни, задавал несложные вопросы; она иногда отвечала мне, иногда нет, если моя любовь была не в настроении, то просто говорила: заткни свой разговор-

ник, кретин; но, вы сами понимаете, я не оби-
жался, само собой, конечно, все понятно: она
вся еще там, в любовных грезах, молодые
женщины так мечтательны, так ранимы,
признаюсь, я был удивлен и растроган, стол-
кнувшись с целомудренной, как зеркальная
поверхность пруда в безветренную погоду (в
моем саду был пруд с деревянной купаль-
ней), девственностью и щепетильностью. Не
знаю, боюсь, что злоупотребляю вашим вни-
манием, честное слово, не уверен: нужны ли
еще какие-то подробности нашего блажен-
нейшего бытия, по-моему, нет, ясно слепому,
мы жили душа в душу, как шерочка с маше-
рочкой, только так, ни одной ссоры за целый
месяц, почти за целый месяц, да, да, можно
сказать, именно медовый месяц, и я до сих
пор помню тот легкий дурманящий запах ра-
зогретой солнцем полыни, которым она ода-
ривала любое место, где появлялась. Конеч-
но, сударь, вы можете выразить сомнение,
упрекнув, что ручаться имею право только за
себя, но уверяю вас, не считайте меня по уши
деревяннным дураком, простодушно выбал-
тывающим то, что следовало бы скрыть, —
ни-ни, ничего подобного, в том-то и дело, вы
должны были заметить — я не так прост, как
может показаться: стал бы я приводить заме-
чания столь нелестные на первый торопли-
вый взгляд, но не тут-то было — поверьте, ее
грубоватые манеры (так и слышу в вечерею-
щем воздухе аллеи, напоенном влажной ду-

хотой, хриплые нотки ее гортанного голоса, что гаснут между ветвей фиговых деревьев, свешивающихся над нами, как волосы на лоб, протягивая характерные листья в виде ладоней и лиц). Да, да, ее грубоватые манеры и шутки только подчеркивали притворное (или истинное, неважно) негодование и на меня, но и на себя, заметьте, на себя, но именно за то, что она предавалась нашим миленьким занятиям с еще большей страстью, нежели я, можно сказать, я снисходил к ее слезным просьбам, она была голодна, как исхудавшая до ребер собака, и сама, стесняясь своего магнетического чувства, действительно, нечего скрывать, и не собиравшись, кляла меня на все лады, я же, позволю себе заметить, только подыгрывал ей, не больше, уверяю вас, так оно и было. Как сейчас помню ее утренние и вечерние омовения в глубоком, точно лохань, деревянном тазу: я занавешивал дверь ее же белым покрывалом, чтобы трактирный посыльный, коего она панически смущалась, не мог подсматривать за нами через замочную скважину (явно глупая мера, ибо лестница, как я уже говорил, скрипела, как сумасшедшая, и даже Святой Дух, поднимаясь по ней, не смог бы подкрасться незамеченным — но что женщинам доводы?); она плескалась, сударь, как играющая девочка, а я, застыв с крахмальным полотенцем наготове, смотрел, как зигзаги искорок пробегают по мгновенным изломам и льдистым вспле-

скам воды (если дело происходило утром и свет пробивался сквозь наши неплотно задернутые венецианские шторы). Или как язычки зажженных канделябров трепетали внутри каждой стекающей по атласной коже капельки, напоминая рой светящихся насекомых, залитых стекловидной алмазной массой (если дело шло ко сну и шаги зажегшего свечи посыльного стихали на лестнице внизу). Последнее движение — она отряхивалась с грациозностью попавшей в лужу кошки, — и волны мягкой материи вместе с моими руками укутывали ее скользящее русалочье тело. Конечно, она не могла иначе и, с трудом переводя дыхание, шептала: отстань, надоел, козел похотливый, но, сударь, вы же понимаете, я слышал исходящий от ее кожи (несмотря на омовения и притирания) легкий запах полыни, призывные нотки желания, прореживающие грубоватый оклик, и, вот вам лучший пример, боясь, что я поддамся смыслу, забыв об интонации, Магда, зная, как я это люблю, легким жестом выдергивала подаренную мной золоченую заколку из диковинной кости (подарил как залог уже в первое утро, несмотря на неслыханную цену), и шуршащий шалаш волос закрывал от нас все, что могло мешать, словно занавешивал сознание. Престарелый папаша не нежит и не трясется так над своей дочуркой, как я леял ее, женщину моей сухой гортани, точный слепок моего самого неистового жела-

ния; поймите правильно, не знаю, вероятно, это трудно представить, если не пережито самим, но моя душа была полна, как уши звоном, если стоять рядом с колоколом, никогда, ни до ни после — ничего подобного; и поэтому вы, надеюсь, поймете, почему, когда Гвидо Бонатти в 1227 году спросил меня: как вы, столь разумный человек, решились сказать такое, я ответил: за то, что он лишил меня моей девочки, я был готов на все, неужели неясно, конечно, вам не понять, подотритесь своей индульгенцией — такой народ эти католики, никакого соображения, оловянные души, сердце суше чернослива. Но, милостивый государь, простите, я ничего не понял: какой Гвидо Бонатти, это же совсем другое, как говорится, из другой оперы? И потом, я совсем запутался, что за ерунда, как вы могли лишиться вашей, если так можно выразиться, девочки, если вот она, только что мелькнув своей крутобедрой фигуркой, окунулась в облако крахмального белья на квадратной постели с резными столбиками по краям? В том-то и дело, сударь, в том-то и дело, вы должны понять, что значила, вернее, означала для меня подобная потеря — что я сказал: подобная? какая-то ерунда, в том-то и дело, что ничего подобного. Но, простите, милый Маятник, каким же образом — я потрясен, ведь ключ, как я помню, висел на вашей груди и иногда, неудобно повернувшись, давил на ребра? Да, да, между прочим,

как-никак, только если, мало-помалу, не знаю, как сказать, но однажды, после того, как я очнулся от привычного послеобеденного отдыха, который последовал за привычной послеобеденной любовью между мной и, не буду произносить ее имени, зачем, к чему, что в имени тебе моем, так вот, после того как после, короче: я открыл глаза, все еще ощущая во вспотевшей ладони подол белой полотняной накидки с ало-лимонными аистами, скрещивающими шпаги клювов, и увидел, что она, та, о которой мы с вами и ведем речь, не могу произнести: она — сбежала.

Да, так и живем, будьте любезны, можно сказать, только с закрытыми глазами и существую, чтобы личность оградить, ибо невозможно творчески мыслить, хотя гиппократу иванычу и устно, и письменно, неоднократно, о чем сообщаю и обращаю внимание, но безрезультатно, вот и мухи белые, забыл, как иначе называются, за окном полетели, а я все здесь, что считаю недопустимым, и, извиняюсь, тут что-нибудь такое добавить, мол, так и так, дорогие товарищи по призванию и науке, отлученный от любимой стези, на которой единственно как человек вынужден прозябать не известный общественности, хотя свои труды посылал вам неоднократно, о чем подтверждаю, по почте и через посыльного, и до и после, даже квитанции могу предъявить, ибо я их специально и заблаго-временно

подшиваю и храню, ага, как жуки на булавке сидят, как будто, да, слово какое-то есть, ну-ну-ну, что-то голова сегодня не варит, слово даже забыл, так-так-так, как его, нет, будьте любезны, совсем жидомор до ручки довел, каждый день в масона вербует, только в мою сторону и глядит, хотя вид делает, что ни-ни, я головой чувствую, что фокусирует, это я сразу понял, на что неоднократно и намекал, посылая по инстанции, ага, вот опять смотрит, сейчас время-то и засеку, так, сколько сейчас, мы это быстро вычислим, я и формулу специальную намерен вывел, точно-точно, целый час сидел, но вывел, квадрат расстояния на интенсивность его мухоморского взгляда плюс корень кубический (так как здесь, обращаю внимание, всегда не проветрено и, значит, испарения) из неблагоприятной атмосферы, я еще думал волоса как-то учитывать, ибо уже вторую неделю гиппократу иванычу говорю, что волоса мне мешают, сбрить бы хотел, чтобы лучше творческое пищеварение происходило и проветриванье мозгов, но он мне наотрез заявил, говорит, наголо не полагается, а я это для хитрости, ибо чувствую, что, если волос не будет, ему, жидомасону, и фокусировать труднее будет, так как взгляд по бритой поверхности скользит, и у меня голова варить будет лучше, а так, прошу это учесть, постепенно подкрадывается научное бессилие, ибо я не могу не отдавать всего себя, когда общественность, и тут

что-нибудь такое хлесткое, мол, так и так, возьми глаза в руки, что делается-то, вместо того чтобы оградить изобретателя воздухопровода и причино-следствий, от которых все и пошло, все движение и так далее, от подозрительных типов, используют не по назначению, не та производительность, хотя я не отказываюсь, понимая, что посажен в осиное гнездо как свой человек, на что и накапливаю материал, но без связного постепенно выдыхаюсь, ибо нужна поддержка, предлагаю устроить тайник, ай-я-яй, нет, так нельзя, вон опять маятник проклятый на меня взглянул, а если он взглядом мысли мои читает, а я про тайник договариваюсь, он первый туда проберется, я как раз думал в туалете, чтоб внимание лишним заходом не привлекать, заказничек для газет вытиральных использовать, и мне предназначенное перехватит, ай-я-яй; я туда, а мне записка предназначенная уже в руках вражеских, то-то и раньше замечал, что он в галльон чересчур часто бегают, а потом на меня эдак посматривает, мол, объегорил тебя и обхитрил, а теперь скажет, вот, пожалуйста, полюбуйтесь, какой тайник он устроил, и, заметьте, каждые полчаса туда и бегают, и все подумают, подумают и решат, что враг международный не он, как на самом деле, и по происхождению понятно, а я, а мухомор теперь и скажет, ага, попался, теперь работай на нас, давай свою информацию, ибо нет у тебя ника-

ких товарищей академиков, а раз так, извини и подвинься, так и так, и тут же своей паутиной путать, ибо я-то знаю, к чему они подбираются, масоны эдакие, им все открытия давай, чтоб потом против прогресса неминуемо использовать, а я, если застуканный, то мне никто и не поверит, почему и прошу какую-нибудь весточку прислать, чтобы удостоверение личности было, мол, только он ко мне со своими предложениями, а я ему раз пропуск этот, где черным по белому, мол, не суйся не в свое дело, пока куда в другое место не забрали, так и так, ибо человек на спецзадании государственной важности при научном обеспечении, вот, а когда он рот откроет, тут бы мне аппаратурку какую-нибудь, чтоб записать, мол, ты говори-говори, а у меня все это записано, да-да, будьте любезны, и не крутись, а если что не так, то можно у нас и в рубашечку, что с рукавами, завязать, чтобы руки не распускал, ага, а то у них руки очень длинные теперь, до чего хочешь дотянутся, мне вот антонина, супружница моя, на прошлой неделе говорила, что сосед верхний, о котором сообщал, он еще с собачищей без намордника ходит, объявления везде вывесил, мол, меняться хочет, я антонине еще говорил, чтобы она объявление это потихоньку списала бы, чтоб документ был, ибо там шифр какой-нибудь обязательно есть, так как чего иначе меняться ему, если у него и так отдельная, когда мы со степановной-

соседкой уже который год живем, хотя я на улучшение и подавал, ведь это и слепому ясно, как щиты с объявлениями использовать можно, например, пишет масон какой-нибудь, что продаю, мол, то-то, а покупаю это, а другой масон подходит и читает, с шифра переведя, что принесу порочащие материалы и последние научные данные тогда-то и туда-то, как пить дать, так и делают, уверен, я бы и щиты эти, предложение делаю, закрыл бы от греха, и антонине, когда приходила, сказал, чтоб она объявление-то списала, а она, вот я скажу гиппократу иванычу, что ты каким был, такой и остался, да, я говорю, ты же, извиняюсь, не разумеешь ничего, да, не твоего ума дело, ага, да, да, мне, может, за это и орден дадут, как за государственную важность, это понимать надо, я и говорю, что, что, я и не зарываюсь, не зарываюсь, это ты, извини за грубость, зарываешься, конечно, ага, не суй свой нос, да, да, потому что у меня нюх на эти дела есть, я давно заметил, это кому как по природе положено, вот-вот, тут дар иметь нужно, особый, я и говорю, другой, к примеру, тыщу раз мимо пройдет и ничего не заметит, а я сразу вижу, если что не так, будто во мне счетчик какой заложен, ага, детектор лжи называется, да, да, если б не мои обязанности, что на стезе научной, со мной в два счета всех шпионов выловить можно было, точно говорю, у меня даже в глазах меркнет, как их увижу, будьте любезны, по

глазам и засекают можно, во-во, потому что чувствительность во мне особая присутствует, даже проверить можно, я и сам поначалу не подозревал, а вот когда сигналы первый раз принял, тогда и убедился, ага, как сейчас помню, лежу, а голова тоже как-то не в ту сторону вращается, и вдруг чувствую, пульс во мне как-то ходуном ходит, то есть, это чтоб вам понятно было, не в пульсе, конечно, суть, но по пульсу я тогда все и определил, будьте любезны, так как, если сигнала никакого нет, то и пульс тикает и тикает, как обычно, а как только сигнал в голове фокусируется, то и пульс сразу другой, а какой именно, это от сигнала зависит, я потом антонине рассказывал, она не верит, ну, это понятно, это понимать надо, ага, не по сеньке шапка, я и говорю, когда сигнал сильный придет, а когда нет, я вот на этом и теорию свою построил, во, потому что здесь гармония есть, и информация преобразуется, например, придет сигнал А, у меня в голове: а-а-а, придет Б — у меня: бе-е-е голосом таким, на мой похожим, а когда их различать научился, то и слова разные пошли, потому что чаще всего они поодиночке не приходят, точно-точно, чаще всего какая-нибудь такая штучка: а, бе, ве, де, гебе, геве, деге, беге, де, ге, ве, а, потому что гармония есть, будьте любезны, это какому-нибудь прохиндею так, набор букв, а я точно говорю, здесь сюжет есть, композиция зарыта, голоса поют, только это понимать надо,

ага, я эту штучку все равно расшифрую, вот так, мне бы не мешал никто, а то, ай-я-яй, как же я так проглядел, жидомор опять смотрит, ай-я-яй, а вдруг он как раз фокусировал на меня, ну, дал я маху, ну все, теперь они скажут, ага, шифр сочиняешь, ага, сначала тайник в ящике в туалете сооружал, а теперь совсем распоясался, а сам между делом мою формулу и прикарманит, пошумит-пошумит, а когда я формулу расшифрую, он и скажет: это моя формула, потому что и теорию причинно-следствия я придумал, и воздухопровод, а он, то есть я, только шифры подозрительные составлял, и все, и еще тайник, а больше ничего, так и облапошит, нет, надо отсюда ноги делать, точно говорю, надо отсюда выбираться, а то хана, во-во, гиппократ иваныч на меня что-то косо смотрит, я так и знал, что он мои послания перехватывать пытаться будет, потому что он у них связным поставлен, я сразу понял, нет, надо отсюда деру делать, а то и так почти целый день с закрытыми глазами лежу, ибо я это опытно поставил, когда с закрытыми глазами лежу, то и масон не смотрит, и фокусировать ему сложнее, но и мне тоже, будьте любезны, в темноте не просто существовать, нет, надо на свет общественности выбираться, ага, затихарюсь сначала, будто на поправку пошел, а когда выпустят, я им покажу масонство разное, ишь, масон-то опять смотрит, ну, лады, лады, ты у меня посмотришь, ага, мы еще по-

смотрим, кто кого, поглядим, а пока тихо полежу, будто и не понимаю ничего, вот так, у кого совесть чиста, бояться нечего, ага, выкусил, извиняюсь, вот и вербуй меня, когда я с закрытыми глазами лежу, и еще губами шевелит, вот так, так и полежу, ага.

Да, сударь, конечно, я отвечу на ваш вопрос: я действительно встретился с Иегошуа буквально через несколько дней. Не буду скрывать, зачем, не вижу смысла; этой встрече помогло содержимое окованного медными полосами сундука, вернее, его часть, перекочевавшая в карманы того самого, если помните, трактирного посыльного, которого я по наивности, теперь мне это ясно как день, нанял для услужения нам, мне и Магде, надеясь таким образом оградить себя и свою любовь от посягательств со стороны; а сам, не подозревая этого, пригрел, как говорится, змею измены на своей тоскующей груди. Простите, милый Маятник, что я опять обращаю ваш взор на дела, так сказать, давно минувших дней, но я хотел бы спросить, это очень любопытно, правильно ли я понял, не уверен, боюсь, что ошибся: вы имеете в виду Иегошуа, незадачливого товарища вашего далекого, как горизонт, детства или его тезку, также Иегошуа, называемого пророком в восточной части города, где его популярность росла с каждым днем? Кто именно стал той третьей стороной любовного треугольни-

ка, что и лишила вас, если позволите, блаженства любви и страсти? Я ничего не напутал, ибо это вероятно, возможно, но требует уточнения: пожалуйста, если не трудно, поясните. Да, да, сударь, конечно, я отвечу, что за экивоки, хотя, простите, ваше недоумение мне кажется чисто риторическим, уверен, не сомневаюсь, вы сами давно догадались, что и как, кто и где, но позвольте вернуться к тому дню, когда после более чем десятилетней разлуки я встретился наконец с Иегошуа, что некогда жил в Назарете, на другом конце нашей тихой улочки, в доме пухлого и сонного, точно полуденные облака над морем, дядьки Иосифа. Рядом с ним мать Иегошуа, тетка Мария, подвижная и говорливая, поджарая, как корочка хлеба, всегда знающая все слухи базара — настолько производила впечатление существа другого мира, что некоторые, полувшутку-полувсерьез, высказывали сомнение о том, что киселеобразный плотник Иосиф был отцом ее ребенка. Хотя руки его хорошо знали свое ремесло, из-за свойственной ему апатии поток заказов оскудевал, и большей частью последние годы он коротал время, сколачивая впрок для своих соседей гробы, коих набрался уже целый сарай, и именно эти соседи, злословя больше других, высказывали сомнение, что находящийся под каблуком тетки Марии апатичный и попивающий от нечего делать плотник Иосиф в действительности был ей мужем и отцом ее

малахольного и вечно мучающегося желудком сына — не обошлось ли здесь без вмешательства, так сказать, извне, спрашивали досужие сплетники. Итак, сударь, я должен был встретиться с товарищем своего далекого детства, о котором за все это время не было ни слуху ни духу. Прекрасно, как сейчас, уверяю вас, будто и не было складной гармошки всех последующих лет, помню этот день: пришлось подняться еще засветло, ибо путь предстоял неблизкий, есть в такой ранний час я не мог, живот сводило, по телу, из-за того что пришлось встать намного раньше привычного, переливалась противная пустота, за обочинами ведущей в город дороги поднимался густой среброликий туман, небо было забрано тинной свинцовых туч, однако солнце уже невидимо раскалялось, кусты и листва дышали перламутровым паром, а кроны стоящих вдоль дороги фиговых деревьев, казалось, были обернуты ватным маревом. Идти пришлось через весь город. Вернее, сначала, это само собой, мне пришлось проделать путь от своего дома на горе (один раз я обернулся и увидел, что кладбищенская стена, с которой соседствовал мой сад, кажется не меловой, как в жару, а светло-салатной, из-за стелющегося тумана), завернуть возле известного вам трактира у развилки дорог, оставляя по левую руку ручей и озеро с плавающими кувшинками, и, только миновав городские ворота (солнце за пеленой туч рас-

калилось сильнее, туман постепенно пропадал), я вступил в черту города. Не знаю, боюсь вас утомить, нужно ли описывать, как я шел по всем этим улицам: сначала узким, а затем, по мере приближения к центру, все более и более широким, мимо всех этих синагог, хедеров, частных заведений, мясных, москательных и зеленных лавок, трактиров, кофеев, магазинов галантерейных мелочей, общественных бань, мимо дома первосвященника со знаменитым резным фронтоном, мимо здания канцелярии гражданских дел в виде неправильного четырехугольника, дома римского наместника, дома резника, синагогального сторожа, дома гробовых дел мастера, особняков квиритов, свернул на углу, у самого известного в городе заведения, принадлежащего торговцу живой рыбой Ицхаку. Приманкой заведения являлся огромный аквариум, одной прозрачной стенкой выходивший прямо на улицу, где постоянно собиралась толпа зевак. Затем рыбная лавка, трактир, где подавались любые рыбные блюда, к нему примыкала гостиница для приезжих, бассейн с изумрудной водой, баня и дом свиданий для римских солдат; так, совершенно незаметно пройдя центр, я перешел из западной части города в восточную, соприкоснувшись взглядом с тысячью незнакомых лиц (выловив из них пять-шесть знакомых или полужнакомых), улицы опять стали сужаться, петлять, жилища за изгородями становились

все более неказистыми, окна меньше, зато сады и палисадники казались гуще и сочнее; солнце между тем давно взошло, в дороге я был уже не один час, и, зашторенное плотно, без просвета подогнанными друг к другу свинцовыми тучами с фиолетовым отливом, парило нещадно, добавляя к обычной жаре вязкую, точно кисель, влажность, отчего с каждым шагом все сильнее наваливался груз усталости; на сандалиях и торчащих пальцах ног образовался толстый слой пепельно-желтой пыли, пыль оседала и липла к телу, противно скрипела на зубах; проведя пальцем по щеке, я оставил на ней светлую дорожку, палец же мгновенно почернел. И все-таки я опоздал. Несмотря на спешку, хотя, конечно, вы можете выразить сомнение, возразить, что не так-то я и спешил, отнюдь, очень похоже, что опоздал я намеренно, ввиду понятных только мне причин, боясь и не желая встречи, которая все же произошла, но, так или иначе, делать нечего, так было — я действительно опоздал. Свернув в проулок за лавкой жестянщика (над проемом дубовой двустворчатой двери висела начищенная до сияния сковорода на длинной ручке), я увидел бредущую мне навстречу (а точнее — разбредающуюся) толпу и, конечно, сразу понял, что собрание пресловутых минеев, о котором, естественно, за дополнительное вознаграждение мне сообщил мальчик-посыльный из придорожного трактира, кон-

чилося. По его словам, а я доверял ему, хотя, должен признаться, по сути, не доверял никому и никогда, зачем, какой смысл, но теперь, находясь в безвыходном положении, доверять был обязан, ничего большего или меньшего мне не оставалось, хочешь или не хочешь, короче, понятно, он уверял, что здесь я обязательно встречу Йегошуа, смогу с ним переговорить, и, возможно, чем черт не шутит, даже ее, женщину моего вдоха и выдоха, которую и соблазнило это бесхребетное существо, но, прошу прощения, точно я ничего не знал, признаюсь, я только начал распутывать ловкую паутину, коей оказался связанным с головы до пят. Но тут ручейки толпы охватывали меня, словно пальцы чужую кисть при римском рукопожатии, и я сообразил, что опоздал. Должен признаться, я имею на это право и, кроме того, просто обязан: изобразя гримасу разочарования, про себя я вздохнул с облегчением. И, очевидно, вы с полным правом можете схватить меня за руку и сказать, как же так, милостивый государь, значит, вы действительно не желали встречи с Йегошуа, и потом, простите, я не понял, после чего, перебив вас, я отвечу, что во мне боролись, одолевая попеременно, но и одновременно два противоположных желания: с одной стороны, меня томило желание раз и навсегда, так или иначе, была не была, сейчас или никогда, узнать все как есть, что касается его и ее, меня и ее, его и меня, но, с

другой стороны, меня обуревало стремление к покою, ведь ты ничего точно не знаешь, уговаривал я сам себя, а вдруг что-то не так, ошибка, попадешь впросак, наверняка неизвестно, лучше потом, как-нибудь еще, главное — не сегодня, всему свое время, делу время — потехе час, короче — где наша не пропадала. И все-таки, как говорят, для очистки совести, чтобы потом не иметь к себе никаких претензий, это, кстати, если вы успели заметить, мой принцип: делать все так, раз и навсегда, чтобы не иметь к себе никаких претензий, не надеясь больше ни на кого, да и на кого мне надеяться; короче — я смешался с рдеющей прямо на глазах толпой, на всякий случай спрашивая у встречных и поперечных, не видели ли они учителя, меня посылали в разные стороны, указующие персты дырявили воздух перед моим носом, я послушно плелся в сторону жеста, со стороны главного входа обогнул синагогу, как-то незаметно стало темнеть, сразу за изгородью начинался желтый сухой пустырь, поросший полынью и заваленный грубыми камнями; за северным приделом тянулась аллея из чахлых олив, переходящая в редкую оливковую рощицу; а за спиной, на холмах, нависал бело-золотой город. Иегошуа я заметил внезапно. Расползающееся месиво толпы составляло кое-где бурлящие водовороты; повернувшись, собираясь двинуться в обратный путь, я заметил между олив, образующих не-

что вроде аллеи, кучку из десяти—двенадцати мужчин страннического вида, которые, разговаривая между собой, иногда разворачивались в сторону лежащего на земле валуна, поросшего рыжей травой или мхом, издалека было не видно; за ним, вполоборота ко мне и прислонившись спиной к камню, сидел некто худой и плешивый, в накинутах на плечи бурнуса; а все вокруг стояли в напряженной, точно слушающее ухо, позе ожидания. Конечно, вы хотите спросить, узнал ли я его сразу, но, к сожалению, уверяю вас, мне трудно ответить определенно, не покривив при этом душой, ибо что-то действительно, признаю, заставило меня сделать шаг в сторону, меняя ракурс взгляда, чтобы лучше разглядеть сидящего на земле, которого остальные столь явно одаривали молчаливым почтением, но узнал ли я его сразу или в следующий момент, когда, то ли услышав, то ли почувствовав мое движение, он повернул свое столь знакомое лицо со слабовольным западающим подбородком, покрытым рыжеватой редкой бородкой, которая путалась с длинными, давно не мытыми волосами, спадающими с висков, ибо затылок был полностью лыс. Он повернул почти не изменившуюся за десять лет, только, возможно, еще более обрюзгшую физиономию с узким лбом, несколько расширенными устьями залысин, с изможденными дряблыми щеками, чуть припухлыми под глазами, что и раньше бы-

вало у него после длительного приступа живота, когда любая пища вызывала рези и тошноту, весь мир был не мил, тетка Мария обычно пичкала его дубовой корой и настоями трав, но ничего не помогало, глаза, как и сейчас, полные тоски, западали, черты лица по-птичьи заострялись, во всей фигуре был некий скрытый надлом, будто не давала покоя боль в позвоночнике или мозгу — не знаю, проверить невозможно, боюсь ввести вас в заблуждение, точно не помню, возможно, вероятно, что узнал я его сразу. Зато, и это несомненно, никаких натяжек, ни-ни, и не думайте, ручаюсь чем угодно, в то же мгновение перед моим, как говорится, внутренним взором промелькнула совсем другая сценка, происшедшая однажды, десять лет назад, когда мы втроем возвращались лесной дорогой домой, случайно попали под дождь, и Магда, решив просушить волосы, которые еще ни разу не подрезала, распустила их, и они рассыпались по плечам каштаново-золотистой волной, заскользили, как лавина, закрывая тонкие руки, девически-припухлую грудь и спину сплошной пеленой. Невозможные, невероятные, небывалые волосы, виденные мною всего один раз с тех пор, как, но ведь все равно она исчезла, и ее жест, отточенно женский: согнутая в локте рука, обнажающая пепельную подмышку, поправила и приподняла волосы с затылка, высвобождая еще; представляете, тяжелая пенная волна,

она могла бы снять платье, как леди Годива, и шалаш волос скрыл бы полностью ее стыд, — и из-под руки вопросительно взглянула не на меня, хотя до ее волос и наготы, позы и струнной грации дело было только мне, а на него, Игошуа, который даже не повернул головы и продолжал сидеть почти как сейчас: прислонившись худой спиной к стволу дерева. Содрогнувшись внутренне от спазмы ненависти к этому мозгляку, я шагнул вперед и сказал. Так-так-так, застрекотало в траве какое-то насекомое. Однажды я поймал за крыло эту летающую гадость, не знаю, правда, точно, кусалась она или нет, и попытался определить, откуда исходит стрекочущий звук. Оказалось, никогда бы не поверил, стрекочет она крыльями. Конечно, это ваше право, вы можете спросить: что именно сказал я товарищу своего далекого детства и что товарищ этого далекого детства сказал мне в ответ? Не знаю, не имеет значения, так-так-так, стрекотало крыльями, откуда мне сие, нет и нет, точно неизвестно, все многовариантно. Например, я мог сказать: где? Он, тихо улыбнувшись, будто рад нашей встрече, ответил: здравствуй, брат мой. И опять: так-так-так, застрекотало в траве что-то, что я бы назвал кузнечиком, если бы не знал, что кузнечиком это быть не может. Уверен, вы желаете спросить: неужели моя первая после десятилетней разлуки фраза не была начата с приветствия, самого что ни на есть пространного,

ни к чему не обязывающего, знаете, как говорят, я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, или: добрый день, Игошуа, рад тебя видеть, или: желаю здравствовать, бог в помощь, жду ответа, как соловей лета, разрешите представиться, рекомендую, имярек такой-то, или попростонародному: со свиданьем, друг мой? Но, уверяю вас, при всем желании не могу удовлетворить ваше любопытство, ибо, припоминая былое, я не всегда отделяю злаки от плевел, произошедшее в действительности от только возможного, хотя не все ли равно, не правда ли, как вы считаете, если суть матово просвечивает сквозь тонкую кожу реальности косточками в крупной виноградине; и ручаюсь, это помню совершенно отчетливо, я действительно задал ему свой вопрос, какой, правда, не помню, без обращения, ибо слишком торопился. Конечно, я представляю себе все очень рельефно: вечеряющий воздух под низким сизо-плюшевым небом, безлюдный пустырь на окраине города, за храмом, ибо, увидев, что учитель беседует с кем-то серьезно, почти все вежливо удалились, и два собеседника: один, устало-болезненный, с запавшими от тоски глазами на изможденном лице, сидит, поджав под себя ноги и прислонившись спиной с накинутым на плечи бурнусом к поросшему мхом камню, и второй, стоящий в двух шагах от него, черноволосый, с угольной фигурной бородой, изысканно се-

деющей около рта, с печатью некой роковой красоты и тонкими, может быть, чуть мелко-ватыми чертами лица, постоянно во время разговора оглядывающийся по сторонам, направо, где по аллее серебристых олив, в сторону виднеющейся на горизонте рощицы, текла, уменьшаясь в размерах, капля из десяти-двенадцати мужчин страннического вида, и налево, там, выходя из желто-коричневой синагоги, расходились по домам последние минеи. Здравствуй, брат мой, говорила тихая и смиренная улыбка первого, рад приветствовать тебя, друга моего детства, как поживаешь ты и как поживает отец твой, благочестивый старец Исраил? Слушай, Иегошуа, подразумевалось речение второго, перестань пудрить мне мозги: где Магда, женщина моего вдоха и выдоха, стройная мечта моих последних желаний, на что она тебе, куда ты ее дел? Так-так-так, стрекотало в траве, воздух казался мутным, как запотевшее стекло, от слов во рту чудился запах и горький вкус полыни, и на лице Иегошуа, в его изможденных глазах, я читал знакомое с детства выражение, боюсь соврать, употребить неточное слово, перифразу, но, если угодно, выражение подчиненности, просто не знаю другого слова, ибо хотя он и был старше почти на полгода, но всегда и во всем, можете не сомневаться, поступал так, как я, не выражая при этом согласия или поддержки, ибо был равнодушен, как и что, где и за-

чем, не зная, что такое желание или прихоть. Ты ошибаешься, брат мой, говорили его приподнятые редкие брови, силясь скрыть печать смущения, у меня нет ничего своего, принадлежащего только мне, все мое и не мое, что бы ты ответил на вопрос: кому принадлежит небо или зеленый цвет? Слушай, Иегошуа, говорил мой взгляд, где ты набрался этих мыслей, говори их другим, кто слушает тебя с открытым ртом, я-то не забыл еще, что тебя вышибли из хедера после двух лет учебы, а ты так и не открыл потом ни одной книги, разве я не прав, ошибаюсь, преувеличиваю или, может быть, новым пророкам знания не нужны, ответь, прошу тебя, пожалуйста. Что ты строишь из себя, к чему, так-так-так, стрекочет что-то в выжженной солнцем траве, сумрачная шапка воздуха еще ниже сползает на лоб, лица выглядят бледнее обычного, белый цвет кажется лимонным, где-то далеко, за оливковой рощицей, плаксиво закричала птица: звук, расправив крылья, полетел эхом над землей, вспархивая и затухая, будто ища укрытия для отдохновения и успокоения. А эти двое все молчали и молчали, словно прислушивались к тишине и боясь нарушить ее девственность неверным словом, и говорили только скупые жесты, брови и глаза, да еще сидящий на земле с накинутым на плечи бурнусом, прислонясь спиной к мшистому камню, все что-то чертил и чертил в пыли у ног. Простите,

милый Маятник, я ничего не понимаю, совсем запутался, сбит с толку: сначала мне казалось, что я вижу все очень отчетливо — хмурый день, когда солнце так и не сумело показаться из-за рыхлых свинцовых туч, знакомая дорога от вашего дома на горе мимо ручья, впадающего в уютное озерцо с белыми кувшинками-танцовщицами, мимо пустынного трактира с широким навесом от дождя и солнца, где и произошла столь знаменательная встреча, потом путь по городу, ибо, если угодно, попытка не пытка, а пытка, как говорится, не попытка, и, это мне понятно, вас подгоняла надежда встретиться с приятелем детства, проведенного в Назарете, и, не знаю, какой глагол здесь более уместен, уговорить, умолить, пригрозить, заставить, чтобы он вернул вам то, что ему не принадлежит, и одновременно, если так можно выразиться, не в коня корм, иначе говоря, вы могли надеяться, что Иегошуа, раз он, с вашей точки зрения, стал разыгрывать из себя пророка, а я, конечно, признаюсь, уже давно понял, что Иегошуа-пророк и товарищ вашего далекого детства — одно лицо, как иначе, иначе и быть не могло, не было смысла вводить их раздельно, если бы они впоследствии, так или иначе, не соединились, вернет вам даму легкого поведения, женщину вашего вдоха и выдоха, стройную полногрудую особу с густой гривой волос, вполне похоже, не возражаю, очень может быть, но, милостивый государь!

Простите, я не понял, совершенно, абсолютно, каким образом и на каком языке вы пытались объясниться с Иегошуа, товарищем вашего детства по Назарету: сначала, открыв рот, вы издали звук стрекочущей цикады, а после того, как он ответил вам тихой смиренной улыбкой, начали диалог взглядов, простых жестов, приподнятых бровей. А может быть, он отвечал вам рисунками или знаками, начертанными перстом на земле, в пыли у ног? Мне очень жаль, брат мой, изобразила его правая рука, что я говорю, а ты не слышишь. Глухой услышал, слепой увидел, немой начал пророчествовать, а ты нет. Я и есть, вывела закорючка пальца, тот немой, который молчал, а теперь заговорил: прошу тебя, открой уши своего сердца и услышь. Так-так-так, опять застрекотало в сухой траве или в покрытых прахом пыли придорожных кустах, уаах, ответила далеким плаксивым криком невидимая птица, эхо стремительно понеслось по оврагам и холмам, полям и лугам, горам и долам, чтобы успеть еще вернуться обратно, избегая забираться в густую траву, бурьян и купы деревьев, стараясь держаться ближе к скалистым выступам, большим валунам, глухим оврагам, ко всему, что так или иначе напоминает форму ушной раковины. Вы знаете, должен признаться, я всегда с почтением и, если угодно, с трепетом относился к явлению эха. Если помните, я вам уже, кажется, рассказывал о Симе, нашей

экономке, отдававшей предпочтение блестящим шелковым материям и фиолетовым и лиловым тонам, у нее еще была привычка постоянно поправлять спадающую на лоб седую прядку, ярко выделявшуюся на фоне аспидно-черных волос, будто по ним мазнули кистью с серебряной краской; так вот, Сима, это было еще раньше, когда в нашем доме на горе и одновременно у меня на душе было спокойно, до того, как из комнаты на втором этаже пропала любимая мною женщина, и до того, как она появилась, задолго до, уверяю вас, прошу мне верить. Так вот Сима, гуляя под вечер в саду (а гуляла она в любую погоду: и в жару и в холод, и в дождь и в солнце, уж я за этим следил), заворачивая из глубины сада в аллею фиговых деревьев, что свешивали и протягивали ладони своих огромных листьев, почти касаясь волос, к самым головам идущих мимо (аллея как раз вела к самому дому), именно в этот момент Сима обычно, чаще всего, по пальцам можно перечесть случаи, когда этого не происходило, начинала тихонечко напевать. Только представьте себе, это очень естественно — идти в одиночестве по запущенному дикому саду, мимо древних морщинистых деревьев в два обхвата, не торопясь, нога за ногу, поднимая, по прихоти души, с усыпанной красноватым песком аллеи несколько листиков сердцевидной формы с закорючкой черенка, задуматься о чем-то своем, возможно о своем

усердном поклоннике, который ожидает, прижав лицо к прохладному стеклу, всматривается в густеющий сумрак вечера и, затаив дыхание, слышит, как его длинноногая приятельница, свернув на центральную аллею, совсем неожиданно для себя начинает негромко напевать себе под нос; что-то печальное и мелодичное, соответствующее погоде и обстановке, — очень мило, несравненно, признайтесь, в подобном пении есть своя прелесть, уверен, вы со мной согласитесь. Не правда ли, весьма естественно, что одетая в лиловое Сима, поправив по привычке свесившуюся на лоб седую прядку, так контрастирующую с ее молодым лицом, начинает тихо-тихо напевать, только ее стройная фигурка показывалась в глубине аллеи фиговых деревьев, но, должен признаться, запевала она по моему приказу. Ничего не поделаешь, такова была моя прихоть, мой каприз, конечно, за дополнительную плату, но почти каждый вечер, когда сумрак развешивал меж ветвей свое муаровое покрывало, по моему настоянию Сима отправлялась на прогулку и в установленное время, в установленном месте начинала напевать негромко, очаровательно, почти про себя, но так, чтобы слышал я, стоящий у окна, в нетерпении комкая тяжелую гардину с кистями и вглядываясь в неясный женский силуэт, неторопливо следующий ко мне; слышал и представлял, что это та самая женщина, что была мне дороже всего на све-

те. Да, да, сударь, здесь нет ничего такого, не думаю, что это кощунственно — разыгрывать подобные сценки, ибо Сима, я этого и не скрываю, мне и нужна была только затем, чтобы быть отзвуком, слепком, эхом совсем другой женщины, мне недоступной, но незабвенной. Даже тона ее платьев и накидок: лиловый и фиолетовый, а иногда сиреневый с черными полосами, что так шло к ее точечному личику и волосам цвета воронова крыла, эти тона она тоже выбрала по моей указке, ибо именно эти оттенки больше других, некогда, вы понимаете когда, десять лет назад в Назарете, любила золотоволосая особа, чья смуглая кожа светилась в темноте, точно газовый шарф. Да, Сима была именно эхом, не более того, я не заблуждался: похожее, издавека или с закрытыми глазами (в свои духи, по моей просьбе, она капала горький сок полыни), но все-таки другое существо, хотя, уверяю вас, в этом был свой шарм; поймите меня правильно, я не могу об этом умолчать, но даже отдавалась Сима совсем не так, как та, другая. Она была неумеренной сребролюбкой (переводя каждый лишний поцелуй или поглаживание моей неистовой плоти на язык сестерциев и динариев), но при этом скромна, как ангел, в минуты страсти лаская меня только так, как указывал я (и как в моем воображении делала бы та, другая), упорно сдерживая стоны, несмотря на все мои старания, только бледнея лицом и сти-

скивая зубы в преддверии последнего мгновения. И для большей достоверности иногда, ложась с ней, я надевал на глаза плотную атласную повязку, чтобы не быть так связанным с обедненной, если угодно, реальностью; к сожалению, ничего не попишешь, такова судьба нашего брата-идеалиста; но как мечта не совпадает с действительностью (впоследствии, как вы помните, мне удалось-таки сравнить, разочаровавшись еще более), так Сима была лишь более или менее ловкой копией неповторимого оригинала. Но, милостивый государь, простите, я не понял, не могу связать концов, кажется, вы хотите меня запутать, сбить с толку. Да, конечно, не могу не признать: вы очень выпукло изобразили эту молчаливую женщину в шелковом лиловом платье, с загадочной сединой в молодых волосах, очевидно, лет тридцати, не более, хотя, кто знает, возможна какая-нибудь таинственная история, из-за которой она так равнодушна к звону серебра; например, будучи подкинутой и воспитываясь из милости в доме богатой квиритки, сухой, черствой и скрытной, сладострастной, молодая черноволосая девушка, заплетающая свои густые волосы в тугую косу, неожиданно для себя влюбилась в сына своей благодетельницы, он тоже к ней равнодушен, заметив, в какое время дня она спускается в погреб за вином и зеленью, молодой римлянин отслеживает ее, спускается следом и, крепко сжимая в му-

скулистых ладонях ее маленькие упругие груди, уговаривает отдаться ему, уверяя, что любит и не покинет вовек; поколебавшись из-за страха перед хозяйкой пару дней, она соглашается, начинается страстная любовь, сначала в сыром погребе, где из соломы торчат змеиные головки бутылок, затянутые паутиной, затем в его комнате, отделанной алебастром под мрамор, в ее камере под лестницей, где девичья постель узка, неудобна и скрипит, как новое седло; внезапно входит мать, старая, но сладострастная квиритка, вот так благодарность, нищенка, как ты посмела, вон из моего дома, благородный молодой юноша вступается за свою невинную подружку, которая на седьмом месяце, в припадке гнева хозяйка выгоняет их обоих на улицу, нищета, фунт лиха, ночлежка с беглыми рабами, чтобы как-то обеспечить свою молодую семью, молодой квирит решается на необдуманный поступок, ночью на проезжей дороге останавливает повозку, один торговец остается лежать на земле с кинжалом в горле, второго, из жалости, отпускает, неделя прекрасной жизни, утром завтрак в постели, вино и маслины, молодая жена в кружевной рубашке и чепчике, от нее пахнет смородиновой водой, локоток упирается ему в грудь, как тебе спалось, мой дорогой, дыбом задирает он ее ночную рубашку и страстно целует грудь, оставляя отпечатки зубов, послушай, милый, шепчет она и кладет его ладонь себе

на чашу живота, кажется, он бьет ножкой, говорит она, имея в виду своего первенца, со слезами благодарности на глазах целует он ее плодоносящее чрево, затем, проголодавшись, ест маринованные маслины, запивая их вином, потом опять долгие супружеские ласки, что еще нужно для счастья, хоть сейчас умирай, внезапно стук в дверь, и, звеня зловещей медью, в комнату для двоих врывается толпа легионеров в кожаных шлемах и латах, острый запах соленого мужского пота, отпущенный торговец, оплатив черной неблагодарностью за дарованную жизнь, выследил молодого квирита и привел солдат, молодая еврейка, всхлипывая, закусывая прекрасные губки, смотрит затуманившимся взором, как легионеры уводят ее суженого и уносят награбленное, вино и маслины, все кончено, в отчаянье она отрезает себе косы под корень, осудив, ее мужа продают в гладиаторы, и каждый вечер на арене цирка, что расположен в западной части города, он сражается с дикими зверями и с другими себе подобными несчастными; однажды, накопив денег, она тоже идет в цирк и с ужасом следит, как ее муж, молодой квирит, сражается против выбритого наголо, голого и черного, как сапог, эфиопа с сетью и трезубцем; ее суженый побеждает, закалывая черную образину своим двуручным мечом; закрыв глаза, беззвучно шевеля губами, еврейка дает слово выкупить своего повелителя любым спосо-

бом и, чтобы заработать необходимую огромную сумму, через посредника ищет старичка, который за ее скупые безлюбивные ласки согласится выкупить из неволи ее муженька; ей предлагают адрес, она идет по желтой пыльной дороге, минует трактир с навесом, озеро с белыми лилиями, ручей, прохладный и быстрый, еле передвигая ноги от усталости и страха, подходит к расположенному в глубине сада дому, что граничит с кладбищенской стеной, и, оказавшись Симой, поступает сначала в услужение к вашему больному отцу, а затем, показавшись вам похожей на совсем другую женщину с золотистыми волосами, начинает длительную борьбу с вами за каждый поцелуй, который она ловко переводит на язык сестерциев. А в самую первую ночь, когда она лежит в постели с вами или вашим отцом, это неважно, не имеет значения, кому какое дело, ее очаровательные жгучие черные волосы седеют одной прядкой, упрямо свешивающейся на лоб. Или то же самое, опять же богатая римлянка, к которой молодая еврейка из бедной семьи нанимается в услужение, но ее сын, не молодой, красивый и благородный, а толстый, угрюмый, с неопрятно-подозрительными пятнами на одежде, опять подвал, где хранится вино, окорока и зелень, опять ладони, но теперь не сильные и мускулистые, а липкие и потные, сжимают ее маленькие упругие груди, она отталкивает его противные руки, кажется по-

крытые паутиной, но он обманом и хитростью овладевает ею, начинается неистовая любовь, сначала в подвале, где пахнет плесенью и сыростью, затем в его комнате, отделанной алебастром под мрамор, потом на ее узкой девической постельке под лестницей, которая скрипит, как неразношенные сандалии; внезапно входит мать, сварливая старуха, вот она, благодарность, и ты здесь, негодяй, вон из моего дома, а она уже на седьмом месяце, первая ночь, проведенная неизвестно где, утро, она бредет куда глаза глядят, сплошной туман, споткнувшись где-то у обочины, она падает, плод поворачивается, начинаются преждевременные роды, ребенок рождается недоношенным, слабым, и, омыв его слезами, однажды в полдень, отчаявшись до предела, она подкидывает свое дитя на порог богатого дома, повесив ему на шею медальон; и тут же, закрыв глаза и беззвучно шевеля губами, клянется, что любым способом накопит нужную сумму, чтобы забрать своего малыша и воспитывать его так, как он этого заслуживает; затем, конечно, желтая пыльная дорога, начавшаяся от городских ворот, придорожный трактир с широким навесом по левую руку, развилка, она сворачивает и идет вдоль берега уютного тихого озера, поросшего по мелководью щетиной коричневой травы, затем ручей, звонкий и прохладный, дорога поднимается в гору, жарко, пахнет полынью, где-то далеко плаксиво кричит

невидимая птица, с трудом в глубине густого, как кисель, сада она находит дом, что почти примыкает к белой кладбищенской стене, и, договорившись об условиях, знакомится сначала с неопрятным стариком, живущим на первом этаже, который постоянно отхаркивает в маленькие, специально нарезанные бумажки, а затем с его сыном, черноволосым красавцем с несколько мелковатыми чертами лица и угрюмым остановившимся взглядом. Начинается работа, а в первую ночь, когда она проснулась рядом с черноволосым молодым хозяином, одна из прядок, спадавших на лоб, оказалась белой, точно серебряные сестерции, которые начиная с этого утра она стала складывать в шкатулку в своей маленькой комнатке. Прекрасно, милостивый государь, это действительно эхо, никак не меньше, ни-ни, хотя никак и не больше, должен признаться, теперь я готов поверить в силу и искренность вашего чувства к женщине с волосами леди Годивы, но, простите, какое это имеет отношение к разговору, состоявшемуся между вами и Иегошуа на пустыре за синагогой, к повествованию, которое вы так резко прервали, переключив мое внимание на совсем другое, будто хотели специально сбить меня с толку, запутать, увлечь другой историей, с первой никак не связанной. Нет, поймите меня правильно, если вам по каким-либо причинам неприятно, не хочется, не лежит душа говорить о продолжении

вашей беседы в тот сумрачный день, когда солнце так и не выглянуло из-за свинцовых туч, беседы, происходившей или нет, я так и не понял, осталось до конца невыясненным, а если она и происходила, то на каком языке; но на нет, как говорится, и суда нет: что поделаешь, не могу настаивать, конечно, это ваше право. Хотя, должен признаться, мне кажется, я знаю, что именно мог бы ответить вам Иегошуа: не проси у меня то, что мне не принадлежит, сказал он или начертал сухим прутиком в пыли у ног, ибо что слова, как не знаки на земле, и добавил: грех искать то, что не потерял, и желать того, что не имеешь. Да, милый Маятник, мне кажется, именно так мог ответить товарищ вашего детства, пророк из Назарета, когда однажды, после очередной проповеди, вы застали его сидящим спиной к огромному камню, с наброшенным на плечи грязным бурнусом, и потребовали ответа: где женщина, так любившая его некогда и изменившая вам, только слух о его приближении через мальчишку-посыльного из придорожного трактира, его вы и наняли как прислугу и свидетеля вашей страсти, достиг ее ушей. И знаете, я заметил несколько параллелей, касающихся вас и вашего возвышенного чувства, с которым воистину трудно что-либо сравнить из-за его необычности, иначе говоря, вы, если позволите сравнение, были по отношению к Иегошуа тем же самым, что ваша таинственная лилово-

фиолетовая Сима по отношению к Магде, то есть — эхом, не правда ли, мое сравнение не слишком смелое, оно вам не обидно, прошу вас, успокойте меня. И потом, это очень любопытно, вам удалось еще хоть однажды увидеть ее, женщину вашего вдоха и выдоха, раз Иегошуа, если я правильно понял, так или иначе, словом или жестом, не согласился, если можно так выразиться, на ваши притязания, хотя, как я полагаю, вы правильно поняли, что не без его влияния исчезла из вашего дома, из комнаты на втором этаже, что окнами выходила в сад и на белую кладбищенскую стену, исчезла та, чьим запахом для вас были полны поля и луга, земля и небо? Удалось ли вам, хотя бы еще раз в жизни, увидеть Магду, или как там ее еще называли, не все ли равно, не в имени дело, прошу вас, если не трудно, ответьте.

Имярек спросит: неужели не было никакой надежды? Была. В том-то и дело. Падающая звезда. Загадывай желание. Прямой дуплет имени. Василий Васильевич. Звучит вполне по-русски. Но не ждите, имярек, розового имени писателя, который как раз в это время в келье Загорского монастыря через типографическое слово просит у читателя черствой горбушки помощи, ни больше ни меньше: больше — будет не так смешно, меньше — не стоит просить. У русского писателя легкая газообразная душа, но свинцовый зад.

Ничего не поделаешь. Как ни жаль. Совсем другой семантический ряд, угловая шеренга огней. Точно ничего неизвестно. Подмоченные документы с подмоченной репутацией. Родился примерно в девятьсот восемьдесят пятом году, по одним данным — в Уфе, от чего никогда не отказывался; по другим — в Киеве; хотя, возможно, а почему нет — в Риге. Если в Киеве, то его родитель — какой-нибудь средней руки торговец, мануфактура или мебель, шерстяная тройка, подстриженные усики, круглые крахмальные воротнички, распространенная фамилия — Москвин. Если же в Риге, то в семье инженера, который дал сыну образование радиотехника, вполне современно, с прицелом на будущее. Тогда его фамилия Заринь. Простите, ничего не понимаю, удивится какой-нибудь имярек, Заринь, вы сказали — Заринь, это не ошибка, вы не обмолвились, я не ослышался? Может быть, вы имеете в виду не помощника бывшего императора, а секунданта нашего нынешнего шахматного короля? Нет, милый имярек, в том-то и дело, что Заринь был другой. Ничего не поделаешь. Ни-ни. Даже не родственник, совсем другая судьба. С легкой руки папы из Риги (хотя, возможно, из Киева, из Уфы и так далее) молодой человек описывает восьмерки, петляя, как игла в руках умелой швеи: завернув около первого наркома юстиции Штейнберга, он возвращается на тринадцать лет назад, чтобы вступить в партию

эсеров и после неудачного восстания оказаться электротехником сначала в Германии, а затем в канадской провинции Саскачеван. Весной семнадцатого года делает крутой вираж вокруг фигуры Бориса Савинкова и леди от эсеров Марии Александровны Спиридоновой, стрелявшей по любой цели с закрытыми глазами, опять возвращается в прошлое, когда молодой человек, призванный во флот, благодаря своей специальности, со скрипом открывает дубовую дверь офицерской электротехнической школы в Свеаборге. Снова поворот, и уполномоченный ВЦИК, вместе с бывшим государем, которому был впервые представлен обергофмаршалом Бенкендорфом в Царскосельском дворце, чертит восьмерки на уральских железнодорожных путях, огибая платформы, заплеванные перроны; мелькает нотная грамота шпал, дизель стрелок, бемоли остановок, гамма восходящая и нисходящая, восходящая, нисходящая, подрагивают колеса на стыках рельсов, стучат каблуки, гуськом спускается процессия по нисходящей гамме вниз: голубоглазый прилизанный полковник в мундире без погон, но с subtilной супругой, которую поддерживает комнатная девушка Демидова, четыре высокие девушки в длинных юбках по щиколотку, с ридикюлями в руках, в двойных лифчиках под одинаковыми джемперами, доктор Боткин, недоуменно протирающий запотевшее чеховское пенсне, за ним не по времени

преданный лакей Трупп и повар Харитонов, которые несут опять захворавшего престолонаследника, приступ гемофилии, сокрушается идущий сзади доктор Боткин, вспоминая о наследственности со стороны Габсбургов, хотя он только что прошел, но забыл об этом, идет еще раз в другой последовательности, каблук задумавшегося доктора подворачивается, трещат мелкие камешки, растираемые кожаной подошвой, и рука делает переход, заменяя гамму нисходящую гаммой восходящей. Стучат колеса, мелькают черные клавиши шпал и белых перламутровых ступеней, стучат каблуки тех, кого давно уже нет, кто давно расстрелян внизу, в подвале, раздет под рачьи и собачьи голоса, а принцессы — обыкновенные бабы, сожжен и сброшен в шахту, или, напротив, сначала сброшен в шахту, а потом сожжен, или сначала сожжен, а потом каблук доктора Боткина подвернулся, из глазниц пенсне выскочили серебряные монетки стекол, на которые наступили — лопнули с треском — идущие следом по нисходящей гамме, перешагивая через просмоленные шпалы, диэз напоминает лестничный пролет, открыта дверь: и опять вся процессия гуськом, в затылок, начинает ощупывать ногой ступени. А в это время, ничего не подделаешь, гражданин имярек, такова последовательность музыкальной темы: кто-то бродит вокруг да около дома на косогоре. Ночь, ломкий лунный свет. Чутко дремлет

охрана, опустив лицо на грудь, в воду первого сна, где плавают ленивые рыбыны сновидений, прислушиваясь к ночным звукам. Мало ли. Чтобы чего не случилось. Вдрагивает ставня, задул ветер, надавил, прижал. Трещат раздвигаемые кусты: кто-то бродит там и сям, вокруг да около, куда ни глянь, не разбирая дороги, в Зоне Особого Назначения, по пересеченной местности, оставляя следы на росе.

Тот день, когда мне, сударь, в последний раз довелось увидеть женщину моего вдоха и выдоха, пришелся на конец недели, как сейчас помню, пятница, и жара истомила воздух уже с рассвета. Помню, проснулся я поздно, с гудящей от мигрени головой, что обычно предвещало полное изнеможение от жары к исходу дня, знаете, эту потерю последних сил, состояние, так сказать, выжатого лимона, когда раздражает любая мелочь и цепляешься ко всему, словно ветка шиповника, что вылезла невесть откуда однажды по весне, кажется, как раз в тот год, у входа в беседку (помните, где мы некогда устраивали второй завтрак с фруктами и вином в синем глиняном кувшине и где после всего нас ожидала вздыбленная перина разверстого ложа?). Да, милостивый государь, конечно, я помню, как же, вы обычно посещали эту беседку во второй половине вашей прогулки, начиная ее с усыпанной красноватым, всегда сырым (спе-

циально поливали) песком аллеи фиговых деревьев, затем углублялись в дебри запутанного, точно морской салат, сада, доходя до меловой кладбищенской стены, сплошь увитой плющом и увенчанной переплескивающейся с той стороны зеленью; здесь обычно пахло тенью, сырой штукатуркой и совсем изысканно — плесенью, как пахнет все достопримечательное старье; а затем, повернув, поддерживая вашу спутницу под локоток (если вы оступались, она говорила: смотри под ноги, скобать), направлялись к беседке. Несомненно, можете быть уверены, ваши призрачные идиллические прогулки навечно запечатлелись в моей памяти, но, милый Маятник, сейчас меня куда больше интересует другое: пожалуйста, если не трудно, опишите подробно, насколько это возможно, тот день, когда вы в последний раз увидели женщину вашей тоскующей души, и, так же подробно, саму встречу. Конечно, я вполне вас понимаю, сударь, я так и собирался, как иначе, это ваше право, да-да, знать все, не упуская ни одной детали, но, должен признаться, вынужден вас разочаровать, весь тот день я вижу сквозь пелену, полупрозрачную пелену, облачно-небесную дымку, напоминающую матовую папиросную закладку, которая в хороших, дорогих изданиях предшествует иллюстрациям. В том-то и дело, что ничем, кроме гнетущей, испепеляющей все желания жары и раскалывающей, как следствие, череп мигре-

ни, тот день не был примечателен. Не одолей меня в то утро мигрень, мой единственный и поэтому мучительный недуг, все, возможно, сложилось бы иначе, а так, искренне, поверьте, желая вам услужить, я припоминаю только несколько бессмысленных часов, проведенных с мокрым полотенцем вокруг головы в постели; всему дому было приказано молчать, ступающая на цыпочках Сима каждые полчаса смачивала в уксусе головную повязку; помню блекло-фиолетовый рукав ее муслинового платья, плотно облегающий худенькую ручку, темноту в моей спальне (поверх плотных гардин были развешаны сырые простыни); потом вдруг выяснилось, что в кладовой кончился мускатный орех, обычно хорошо мне помогавший: оказывается, мой бедный больной отец, пристрастившись к нему, за неделю разворовал месячный запас. С досады сорвав с головы повязку, через этаж я заорал, что сверну шею этому старому идиоту, лишу сушеного чернослива, отчего его желудок, склонный к запору, окаменеет так же прочно, как его ослиные мозги; Сима, успокаивая, опять повязала уксусную повязку, уложила в постель, напоив из своих рук отваром смоковницы, и тотчас отправила кого-то за мускатным орехом в лавку придорожного трактира. Не помню, что-то запомнил, не вполне уверен: описывал ли я вам эти приступы головной боли, случавшиеся отнюдь (сказала графиня) не часто, но тем не

менее, несмотря на это, выводившие меня из себя; всего однажды, пока в комнате на втором этаже жила женщина, ходившая по утрам завернутая лишь в белую накидку с ало-лимонными аистами, конечно, не сомневаюсь, вы догадываетесь, о ком идет речь, у меня разболелась голова, и, конечно, в тот день ежемесячного очищения, когда ей требовалось обязательно соблюдать женский пост; несколько раз в течение дня прикатывала откуда-то волна свинцовой тяжести, сжимала тесным обручем надбровные дуги, свербило виски, но, прошу вас не смеяться, только она касалась меня своей благословенной рукой, я не говорю об ее драгоценных ласках, из которых я боялся расплескать даже каплю, а просто во время трапезы, передавая блюдо с фруктами или графин, случайно касалась пальцем, который я тут же, почти инстинктивно, прижимал в ответ (убери свою похотливую лапу, гад, кокетливо шутила она), но, вы меня поняли, уверен, это не трудно, ее прикосновение было целебным, снимающим всякое напряжение; а на следующий день о приступе не было и помину. Теперь же мне хотелось спрятаться в собственную мошонку: так напоминала голова гудящий котел или колокол, не знаю, все равно, не имеет значения, главное — гудящий; и если мой бедный больной отец на первом этаже шаркал своими трясущимися от старости ногами, направляясь в галльон, мне каза-

лось, что этот кретин шурует раскаленной кочергой в моем шарабане, головном камине; угли, ворча, разлетались, белка огня крутила свое колесо, из глаз сыпались искры; обложенный подушками, закрывая глаза, зашторивая веки, я старался представить что-либо приятное и заснуть; со скрипом открывалась калитка, освобождая путь извилисто текущей тропинке, справа штриховала кусты изгородь нашего дома в Назарете, желтое тело тропки уходило за околицу к плоской коричневой лужице кипарисовой рощицы на горизонте, прихлопнутой тугой синевой неба. Очевидно, так мне казалось, я лежал в траве, справа или слева от тропинки, неважно, точность не имеет значения, так-так-так, стрекотали вокруг меня невидимые насекомые, перебирая крыльями и надкрыльями; однажды в детстве мне в ухо влетела дурная бабочка, знаете, коричневое бархатное существо с вялыми, отороченными кружевами крылышками; даже не знаю, как она смогла залететь в столь небольшое отверстие: залететь она залетела, а вот выбраться обратно, видно, было не в ее силах; и она стала метаться, колошматя в истерике тряпками крыльев по моим шарбаным перепонкам, отчего мне казалось, что кто-то хлещет по мозговым извилинам; вытащила дуру бабочку тетка Мария, мать Иегошуа, к ней всегда обращались за врачебной надобностью: вынуть сучок из глаза или перевязать царапину, она поднаторела в этих

делах, ухаживая за своим болезненным сыном. Сначала тетка Мария залила мне в ухо воду с камфорой, а затем уже утопленницу подцепила тонкой вязальной спицей. Недаром мне вспомнился именно этот случай; представьте себе, я лежал обложенный со всех сторон мягкими подушками, а мне чудилось, будто по лабиринту моей ушной раковины, перебирая лапками, ползет какая-то чешуйчатокрылая гадость, отчего шум, усиленный стократ, отзывался в мозгу, словно несметная толпа крошечных барабанщиков, сжимая в кольцо мою мансарду, приближалась со всех сторон. Не имея сил терпеть, я скинул маленькую, вышитую Симой подушечку, что прикрывала правое ухо, и открыл глаза. Поверите ли: гул не исчез, а стал только отчетливей и богаче созвучиями. Казалось, что надвигающиеся, пока еще издалека, крошечные барабанщики не только стрекочут своими палочками по натянутой воловьей коже и топчут ногами сороконожек, а еще несут на плечах клетки с птицами, которые щебечут на разные голоса. Поверьте, это правда, так оно и было: именно голосами птиц, топотом не одной сотни ног, ложной человеческой беседой (торопливый говор щегла), тысячегрудым жарким на солнцепеке дыханием представился доносящийся до меня гул; прикидывая расстояние, я подумал, что гудящая масса сейчас, очевидно, прошла развилку, трактир с широким тене-

вым навесом, завернула на дорогу, ведущую в гору, и медленно тянется к нам, минуя озеро с одноглазыми белыми лилиями-балеринками, затем ручей, перебирающий камешки во рту, и через минут десять, самое долгое — пятнадцать, будут здесь. Простите, милостивый государь, что перебил, но я опять не понял: тот гул, что вы столь интересно разложили на барабанную дробь, топот тысячи ног, птичьи и человеческие вскрики и голоса, этот гул вам только мнился, это понятно, так бывает, из-за гудящей от мигрени головы, или же вы слышали его в действительности, если угодно, в натуре, а мигрень только наложилась, исказив те или иные тона? В том-то и дело, сударь, что сначала, как вы помните, я сам принял приближавшийся с каждой минутой шум за слуховую галлюцинацию, например, кухарка на первом этаже с помощью терки или мясорубки могла издавать похожие звуки, но, извольте тогда полюбопытствовать, отчего они нарастали; и к тому же в следующее мгновение дверь в мою спальню распахнулась, и обычно церемонная лилово-фиолетовая Сима ворвалась с испуганным криком: идут, идут, они идут. Резко вскочив, отчего в голове что-то перевернулось, будто игральные кости в костяном стаканчике, и, нацепив на себя что попало под руку, я бросился вслед за ней по лестнице. Все мои домашние стояли уже внизу. Толпа, как я и ожидал, двигалась со сторо-

ны придорожного трактира, но далеко не сразу мне удалось охватить разномастную толпу единым взглядом — заполнив собой поперечник дороги, жужжа, как улей, на нас наползал весь восточный базар города, ибо только там можно найти такую карусель нарядов и лиц: зеркалами сверкали медные латы римских легионеров, источали покой белоснежные египетские хламиды, виднелись цветные набедренные повязки на маслянистых шоколадных телах эфиопов, полосатые халаты торговцев перемешивались со строгими тогами ученых и странническими бурнусами, яркой мозаикой алого, синего, изумрудного цвели женские туники и платья, ленты, вплетенные в волосы; тысяченогая толпа двигалась и шевелилась, жестикулировала, дышала, распространяя запахи пота и утроб, над нею сплошным зонтом стояло облако желтой пыли; и гул, напоминая сумасшедший гомон птичьего рынка, усиливался с каждым шагом ползущей толпы. Должен признаться, возможно, вам это интересно, я был настолько загипнотизирован невиданным зрелищем, что на несколько мгновений не только забыл о мучительной мигрени, но мне даже не пришло в голову задуматься, зачем и почему надвигается на меня тысячетелая толпа (мало ли, по мою душу?), и, кроме того, я настолько был увлечен красочным цветением шествия, что пропустил момент, когда из скорлупы размытых бледно-розовых

пятен стали вылупляться отдельные лица. Первая проявившаяся физиономия (толпа была уже совсем рядом, волнуясь и растекаясь студнем) принадлежала багроволицему легионеру, солдату, увиденному однажды в белый жаркий полдень под трактирным навесом, когда я проходил мимо по желтой пыльной дороге и пахло полынью, а он сидел, положив рыжеватую голову с выгоревшими бровями и усиками на сомкнутые кулаки, а потом повернул в мою сторону лицо альбиноса с маленькими медвежьими глазками. Затем в наползающем на меня море мой ошеломленный взгляд заметил вспотевшую физиономию богатого рыбного торговца Ицхака, владельца замечательного аквариума в центре города, прозрачная стенка которого выходила прямо на центральную улицу; на некотором отдалении от него, студенистые волны постоянно меняли очертания, яростно работая локтями, чтобы его не засосало из первых рядов в середину, двигался сынок фабриканта мебели, владельца соседнего со мной особняка с белогорлыми алебастровыми колоннами, мелкие черты лица которого подчеркивала тонкая угольная борода. И только в следующий момент (одновременно спазмой боли напомнила о себе мигрень, отозвавшись на страшный рев толпы) я понял, что происходит. Понял, увидев определенный порядок в этом сумбурном на первый взгляд шествии, которое возглавляла

небольшая группа, отсеченная от остальной напиральной толпы шеренгой римских солдат с короткими обнаженными мечами, группа, состоящая из двух ликторов с пучками розог в руках, государственного чиновника, которого носильщики несли в паланкине, и, ближе к центру и одновременно к наседающей толпе, человека в изодранном бурнусе, который, склонив голову на грудь, еле передвигал усталые ноги от тяжести, возложенной ему на плечи: что-то вроде двух обструганных планок, скрепленных посередине. Муж, бедный муж мой, горестно встряхивая перламутровой челкой, вдруг вскричала стоящая рядом лиловая Сима, вцепившись ногтями мне в руку, и в следующий момент я заметил то, что поначалу было скрыто от моего взгляда паланкином с носильщиками и двумя ликторами: две полуобнаженные мужские фигуры с такими же сооружениями на плечах, на одного из мужчин, обладателя красивой рельефной мускулатуры, указывала моя содрогающаяся от возбуждения служанка. Ее крик из-за, как я уже говорил, невероятного шума вокруг остался незамеченным, и только мой мозг укололся об его острые торчащие края.

Простите, милый Маятник, что перебил, но я желал бы спросить: то сооружение, что в трех экземплярах несли на плечах эти трое осужденных, — не допускаете ли вы, что оно было похоже на обыкновенный детский про-

пеллер, возможно, увеличенного размера, но все-таки пропеллер, который прекрасно запускать в ветреную и безветренную погоду в бездонное с легкой дымкой небо, чтобы потом с восхищением следить за его долгим полетом? Возможно, сударь, вполне возможно, допускаю, а почему нет: эти две обструганные шпалы могли напоминать что угодно, в том числе и пропеллер, хотя, должен признаться, из-за гудящей головы и невозможного болезнетворного шума вокруг я воспринимал происходящее слабо, так сказать, неохотно, сжимая от боли зубы, и сквозь прозрачную, но все же мешающую зрению пелену. Да, да, в том-то и дело, что я смотрел на все это сквозь кисейную пелену, чуть не теряя сознание от разламывающих череп спазм боли, к тому же стояла такая жара, белый полдень, солнцепек заставлял тела обильно потеть, пот катил градом, все лица были обезвожены и обессилены солнцем, казались осунувшимися и похудевшими, так что, надеюсь, вы согласитесь: даже без мигрени выдержать спокойно подобный звериный рев было нелегко. Именно сквозь пелену, то есть как-то отдельно, нисколько не удивившись, вот еще — удивляться, увидел я того, кто, как вы понимаете, уверен, вы давно догадались, только на это и рассчитываю, не мог не оказаться в числе этих трех, — увидел Иегошуа, товарища моего детства по Назарету: обессиленный от усталости, опустив на мгновение дере-

вянное сооружение на землю, он поднял к безоблачному небу свое изможденное лицо, покрытое скудной рыжеватой бородкой, которая росла неопрятными клочками, плохо прикрывая слабый западающий подбородок и выпирающие скулы, теперь вспухшие от усталости и залитые тяжелым потом. И почти одновременно, здесь нечего удивляться, так бывает, сквозь ту же пелену я заметил (только Иегошуа остановился, опустив на землю деревянное сооружение, напоминающее, как вы сказали, пропеллер, как остановились и римские legionеры, сдерживающие напор толпы) в первых рядах, у дальнего от меня края дороги, рядом с багроволицым legionером, почти наваливалась на него, а простоволосая, не менее, а более прекрасная от этого женщина моего вдоха и выдоха, та, что покинула меня ради этого ипохондрика с пропеллером на плечах, моя первая и последняя радость, женщина с волосами леди Годивы, Магда, хотя другие называли ее иначе, но только не я. Увидал, одновременно ощущая (вы не поверите, но, клянусь, так оно и было, несмотря на жару, на солнцепек, вонь усталых тел и затрудненное дыхание окружающих) исходящий от нее горьковатый запах полыни, от коего на мгновение, не буду преувеличивать, зачем, какой резон, ровно на одно мгновение отпустило мою голову тесное объятие боли. Да, да, всего на миг, ибо, как я полагаю, так мне показалось, кровь от-

лила у меня от лица, приливая не знаю к чему, как вы думаете, к тому месту, очевидно, которое любило ее, женщину моего вдоха и выдоха, больше других, но уже в следующую секунду мигрень опять накинута мне на глаза свою паутину. Как вам описать мое впечатление от ее лица: конечно, теперь оно было другим, оно было искажено какой-то мученической гримасой, волосы, ее прекрасные волосы в беспорядке сползали на лицо, моя Магда что-то кричала, дополняя своим голосом звериный рев толпы, наседала вместе с остальными на сдерживающих римских солдат и даже, кажется, лупила своими детскими кулачками по квадратной спине стоящего ближе других к ней багроволицего legionera с рыжими усиками и выгоревшими бровями, напоминающего гигантскую блоху. Конечно, я понимаю, догадываюсь, вы хотите спросить, поинтересоваться: что именно испытал я, увидев, что соблазнитель, лишивший меня моей единственной радости, попал, как говорят, впросак, дошел, что называется, до ручки, дальше некуда, совсем чуть-чуть, доизображался пророка, тоже мне — седьмое чудо света, неуч и байбак, никогда не сомневался, что кончит он именно так, проворуется или влипнет в историю, помню, как били его мальчишки во втором классе хедера за плаксивость и девчачий нрав, никогда не умел постоять за себя, а только закрывал лицо руками, этим-то и держалась наша дружба, что я

его иногда защищал; даже учителя высмеивали его то за глубокомысленные паузы, то за выпренность и пустозвонство; как говорится, в семье не без урода, хотя кто мог предположить, что он додумается изображать из себя черт знает что, будто его детство не прошло на моих глазах, уж кто-кто — только не я, ни-ни, дай напиток, брат мой, хотя, должен признаться, уверен, вы давно поняли: из-за окутавшей меня пелены я толком ничего не видел и не слышал. Нет, можете мне поверить, я не испытывал к стоящему в нескольких шагах от меня человеку в рваном бурнусе, губы которого что-то шептали, сглатывая крупные градины пота, что катился по его помятому измученному лицу, да-да, могу поклясться чем угодно, я не испытывал к Иегошуа никакой особой неприязни или едкого презрения, хотя, Бог мне свидетель, имел на это право, подтвердит кто угодно, и не смотрел в его обращенные ко мне глаза, какое мне дело, не умеешь — не берись, все имеет изнаночную сторону: победителя не судят, слышишь, дай воды напиток, Мешоб, или со щитом, или на щите, не в свои сани не садись; да, ничего удивительного, все смешалось у меня в голове, ибо смотрел я на нее, Магду, женщину моей диафрагмы и предстательной железы, которая смотрела только на него, Иегошуа, опять, будто ничего не изменилось, будто не проиграл он так явно и навсегда; и все это при толпе, которая визжала, хрюкала

(гундели рожки, звенели бубны), издавала непристойные звуки, наваливалась на медные спины легионеров, а жара сводила с ума, воздух казался молочно-белым от зноя, моя голова раскалывалась, в глазах мутилось, и всего в двадцати шагах стояла та, одно прикосновение которой целебно и стоило всего мира вокруг, мне ли лишиться этого прикосновения или всей той толпе провалиться в тартарары, это не вопрос, а ответ, какое мне до них всех дело, с крестом или на кресте, со щитом или на щите, не имеет значения, не все ли равно, так тому и быть; голова прямо-таки разламывалась на части. Простите, милостивый государь, это очень важно, необходимо уточнить, правильно ли я понял: в тот момент невероятно жаркого дня, когда красочное шествие, возглавляемое двумя ликторами с пучками розог, государственным чиновником в открытом или закрытом паланкине, тремя измученными фигурами осужденных, каждый из которых нес на плечах странное деревянное сооружение из двух струганых планок, и римских воинов, чьи спины сдерживали напор остальной толпы, так вот, когда это шествие внезапно остановилось возле вашего дома, что соседствовал с белой кладбищенской стеной, источающей в ослепительный зной запах тени, сырости и тлена, остановилось, ибо один из этих трех, Игошуа, товарищ вашего детства по Назарету, в изнеможении опустил на землю давив-

шее на плечи крестообразное сооружение, сразу, словно по команде, остановились римские солдаты, а затем и кричащая дурными голосами толпа; так вот, если позволите этот вопрос, Иегошуа, остановившись, случайно или намеренно, неважно, перед вашим домом и заметив вас, своего старинного приятеля, защищавшего его от нападок хищных мальчишек еще во втором классе хедера, так вот, правильно ли я понял, что он, заметив родное ему лицо, обратился к вам с какими-то словами, неважно, неизвестно какими, например, попросил воды или просто сказал: а вот и я, Меишоб, ведь это возможно, как вы считаете, я не ошибся, не перепутал имя, которое вы тогда носили, хотя это тоже не исключено, это лишь плод моего воображения. И еще, милый Маятник, если Иегошуа действительно обратился к вам перед многотысячной толпой с какими-то словами, то что вы ответили в свою очередь и что он сказал вам после, пожалуйста, если не трудно, поясните. Да, да, конечно, сударь, вы правы, это возможно, почему нет, кажется, так оно и было, хотя точно не помню, не могу ручаться, но вполне вероятно, что Иегошуа действительно обратился ко мне с какими-то словами: стоял жаркий полдень, невыносимая духота, солнце обливало всех потом, и он вполне мог попросить у меня стакан воды, чтобы утолить жажду, и я ему что-то ответил, хотя не знаю, что именно, возможно, сказал: по-

дожди, брат мой, сейчас мои люди принесут тебе то, что ты просишь; возможно, просто дал знак кому-нибудь из домашних выполнить последнюю просьбу осужденного, который прослезился в ответ на мое радушие и проговорил: это зачтется тебе, брат мой, помня — зачтется. Хотя, что скрывать, ведь все равно это вольная фантазия, ибо, что именно было сказано между нами (если вообще что-то сказано), я не помню, запомнил, немудрено, прошло столько лет, поэтому почему бы и не предположить, что я ответил ему отрицательно, если он все-таки обратился ко мне с некоей просьбой, что тоже сомнительно, но я не в силах забыть приступ головной боли, непроницаемой пеленой окутавшей мозг мой и все мои органы чувств. Именно потому, что вообще я был человек совершенно здоровый, эти редкие приступы мигрени переносились мною особенно мучительно, и вполне понятно, простительно, даже очевидно мое инстинктивное желание избавиться от жестокой, изматывающей сознание спазмы, тем более что избавительница стояла от меня всего в двадцати шагах, через дорогу, и я мог рассчитывать теперь, когда мой единственный соперник, при помощи римского закона и римского воинства, должен был в самое скорое время исчезнуть в никуда, перестав, таким образом, соблазнять и приманивать ту, которой был недостоин, да и зачем ему, никогда не мог понять, не в коня корм;

почему бы мне не надеяться, что, когда это шествие вновь двинется вверх, в гору, я смогу смешаться с толпой, пробраться к Магде и умолить ее избавить меня от мучений, что ей стоит, она делала это не раз раньше, когда все было иначе. Поэтому, конечно, вполне вероятно, хотя не могу ручаться, ибо для того, чтобы скорее избавиться от обруча железной спазмы, необходимо было, чтобы шествие тронулось наконец с места, да и вообще эта молчаливая сцена начинала действовать на нервы, вполне возможно, я и сказал то, что вы от меня ждете, какую-нибудь короткую фразу, отвечая просьбой на просьбу: иди, Йегошуа, иди, ты меня этим очень обяжешь. Конечно, это ваше право, и не думаю его оспаривать, поинтересоваться, что именно ответил мне Йегошуа на эти слова, опять я могу только предположить, вы понимаете, это зависит от того, насколько он понял мое состояние, хотя вряд ли, надеяться на это нечего, он всегда был озабочен только собой, прислушиваясь к собственной больной плоти; но мало ли, почему бы ему не понять, вполне мог бы ответить: прощай, брат мой, не поминай лихом. Или: я пойду, но и ты пойдешь. Ибо, конечно, он вполне мог обидеться, очень на него похоже, тем более, не буду кривить душой, вы все видели сами, я действительно отказал (или мог отказать, что одно и то же, не имеет значения, какая разница), сказав: иди же скорее, Йегошуа, что ты медлишь,

ибо думал о другом — о жаре, которая обессилила все мысли и желания, кроме одного; и он, обидевшись, мог ответить: я иду, но и ты будешь ждать моего возвращения. Конечно, я понимаю ваше недоумение, это грустно: два старинных приятеля, встретившись через целую разно прожитую жизнь, не поняли друг друга и обменялись ничего незначащими словами, хотя одного из них ожидал путь по желтой пыльной дороге в гору, горько пахло полынью, растущей по обочинам, зной распалая кожу, в окружении римских солдат в блестящих шлемах с обнаженными мечами, впереди гудящей, как улей, толпы, с деревянным сооружением на плечах; а второй должен был остаться среди своих домашних, наедине со своей мигренью, он долго, пока еще видели глаза, смотрел вслед удаляющемуся пыльному облаку, чтобы затем обернуться по сторонам, в беспокойстве не находя своей лилово-фиолетовой служанки с седой перламутровой челкой; и не найдя ее, ощущая нетерпение, послать мальчишку-рассыльного в дом, на второй этаж, в ее комнату, посмотреть, нет ли ее там, а потом, после того как ее нигде не оказалось, обнаружить пропажу своего окованного свинцовыми полосами сундучка и всех лилово-сиреневых и фиолетово-черных нарядов из ее шкафа вместе с деревянным резным ларчиком, где хранились ее любимые грошовые поддельные драгоценности. Постойте, ми-

лый Маятник, я что-то ничего не понял: при чем здесь ваша служанка, наложница с седой, спадающей на лоб прядкой, когда вы должны были рассказать о вещах куда более важных, если угодно, значительных, а именно: что произошло после той фразы, на которой вы остановились, не зная точно, это так понятно, что именно вы сказали, но хотя бы примерно представляя смысл обращенных вами к вашему товарищу Иегошуа слов? Нет, конечно, я понял, что толпа, возглавляемая представителями римской власти, поднимая густую пыль ногами, двинулась в свой путь; легионер с багровым лицом и выгоревшими рыжеватыми усиками, подтолкнув Иегошуа древком своего копья, заставил его водрузить себе на плечи деревянный оструганный пропеллер; вслед за ним двинулись два других осужденных, в числе которых был и муж, как я уже догадался, таинственной Симы; за ними, по бокам, ликторы с пыльными розгами в руках, государственный чиновник, следящий за правильностью исполнения церемонии, высунув руку из-за створок паланкина, дал знак носильщикам ускорить шаг, а за ним ослепленная солнцем и жаждущая впечатлений толпа; все понятно, представимо, вполне достоверно и весьма рельефно. Но, милостивый государь, попытались ли вы догнать идущую в середине толпы, в ее первых рядах, женщину вашего вдоха и выдоха, вашей диафрагмы и предстательной железы,

которая единственная могла избавить вас от неизбывной тоски и головной боли, особу с пленительной плотью, осененной густой гривой волос леди Годивы, которая, как сумасшедшая, шепча губами, не видела ничего, кроме бредущего впереди человека в изорванном бурнусе; простите, милый Маятник, но раз вы остались один среди своих домашних, правильно ли я понял, что вам не удалось (или вы даже, как ни странно, хотя такое бывает, некий столбняк, вдруг оставили все силы, вы даже не попытались) остановить ту, которая ушла вместе с топотом тысяч ног и густым облаком пыли, ушла неизвестно куда, чтобы уже не вернуться обратно. Неужели вы так и не двинулись с места, оставшись стоять перед фронтоном вашего дома, отделанного алебастром под мрамор, — пыль, рассеиваясь, оседала на кустах олеандра и листьях фиговых деревьев, а затем, когда все стихло, вы обернулись, вокруг никого не было, все незаметно разбрелись, и, ощущая во рту привкус мускатного ореха, доставленного наконец рассыльным из трактира, комкая схваченную впопыхах накидку с ало-лимонными аистами, что перекрещивали шпаги клювов на белоснежном поле, не торопясь пошли, постепенно растворяясь в полумраке тенистой аллеи парка, я не ошибся, так оно и было, не правда ли, поясните.

Ивушка, Ивушка Плакучая, опять слышу голос твой, летящий издалека. Вернись, вернись, Ивушка, просят губы твои, бескровные и нежные, обветренные, в корочках простуды, тихо шепчущие. Что стоит тебе, Ивушка, нет сил ждать у меня, известковой жены твоей. Вчера опять, вернувшись вечером из убогого кинотеатра нашего, положив футляр на пол, рассматривала в зеркале худое изображение свое: Шуберт звучал в ушах, юбки скользнули вниз, чулки сморщились под коленями — образ не одетой женщины появился в трюмо. Ветер (ибо ветрено нынче) играл с занавеской через форточку, то втягивая ее ртом, то выдувая; три голые алебастровые особы уставились на меня со стекол — две в профиль с разных сторон, третья, с тоской в глазах, в фас. Пальцы запахли канифолью, когда коснулась я рукой холодных щек своих, поправила прическу свою — родинка у меня под мышкой, Ивушка, или забыл ты меня уже совсем? Вчера Олимпиада Васильевна, бедная певичка наша, спрашивала о здоровье твоём. О, Олимпиада Васильевна, шутил ты, голос

души моей, когда в своем длинном черном платье с блестками и бисером пробиралась она между убогих коленкорových стульев наших, пряча в руках фруктовое мороженое в картонном стаканчике. Что я могла ответить ей? Что здоров ты, да только слышишь время от времени голос, заставляющий страдать тебя за других, вместо того чтобы голосом скрипки своей вносить лепту в пиликающий хор бедных мелодий наших. Разве поняла бы она, да и кто поймет тебя, Ивушка, кто поймет тебя, муж мой? А потом, ночью, снова снился мне тот твой стриженный мальчуган, что в ясный жаркий полдень сидел на корточках на берегу тихой лесной речки. Помнишь, ты описывал его — в синих трикотажных трусиках расположился он рядом с живописным кустом, который медленно, как рак, сползает в лениво струящуюся воду, раскидывая ветви в разные стороны; они стелются, переплетаясь с собственными тенями, по земле, вздымаются, приникают под собственной тяжестью к воде, бороздят почти незаметное течение, создавая фарватеры, спокойные заводи с рябью

по краям. Полуденное солнце палит во все лопатки: осколки бликов пляшут на поверхности реки, роятся в гуще долготелых серебристых листиков; макушку мальчика уже напекло, ибо он без головного убора, его сандалии промокли и чавкают, если он переставляет чуть-чуть, буквально на несколько сантиметров, ногу в сторону, так как от неудобной позы хрупкие члены его затекли; на одной круглой коленке его ссадина, свежая, не покрытая еще тиной запекшейся крови; в руках самодельный пропеллер, составленный из двух гладко обструганных деревяшек, скрепленных посередине гвоздем. Да, да, Ивушка, я увидела его именно таким, склоненным над своим деревянным пропеллером, который он, сосредоточенно сопя, ногтями очищал от грязи. Ни ветерка. Жарко, полдень, от травы исходит душный насыщенный запах; от долгого сидения на солнцепеке кружится голова, тем более что, заметив свой пропеллер воткнутым в землю среди мелких расколотых речных раковин и камешков, мальчик в синих трусиках присел так поспешно, что от резкого движения

могла отлить кровь от висков, и, конечно, я вполне с тобой согласна, в такой момент разное может привидеться. Действительно, в этом ты прав, тихий плеск выше по течению реки заставил его на секунду оторваться от перекошенных лопастей своего пропеллера и поднять голову, взглядом стараясь пробраться сквозь суету кустарниковой заросли. Но то, что, взглядевшись, увидел мальчик, не было похоже на описанное тобой: не дева, решившая искупаться в укромном месте, выходила, сверкая наготой своей, из воды, и не музыку воспроизводили расположившиеся на изнанке листьев древесные музыканты — вдоль самого уреза воды, легко опираясь на тросточку, шел мужчина в светло-синем, почти небесного цвета фраке, сдвинув на затылок такого же оттенка диккенсовский котелок. Мальчик, сидя на корточках, смотрел против света, солнце слепило глаза, человек во фраке был еще далеко, он вышел из-за последней излучины, почти сливаясь с бирюзовым телом реки, мелко вышагивая по сухому песочку; и в его походке присутствовала какая-то странная осо-

бенность — он то ли игриво передергивал ножкой, то ли переключивал тросточку из одной руки в другую, — изда- лека его лицо казалось размытым тер- ракотовым пятном. Мальчик отвел взгляд. На уровне глаз по серебристому полю листка ползла напоминающая валторну улитка, оставляя за собой влажный ворсистый след. От глядения против солнца глаза заслезились, все вокруг как бы сдвинулось, затягиваясь матовой пленкой; маленький согляда- тай сильно зажмурил веки, пытаясь вы- давить мешавшие слезы, провел тыль- ной стороной свободной от пропеллера ладони от виска к виску, и в те мгнове- ния, когда зрение, возвращаясь, вновь проявляло и промывало карточку реч- ного пейзажа, здесь, вполне с тобой со- гласна, мальчику могла почудиться вы- ходящая с той стороны куста, из воды, дева с усыпанной серебряными капля- ми атласной кожей, выжимающая за- плетенные в небрежную косу волосы, тем более что, должна признаться, в ушах у него стоял звук лопнувшей стру- ны или треснувшего под стопой звонко- го сучка, что так походило на постепен-

но тонущую под водой струнную музыку. Но в следующее мгновение, вернувшее всем предметам окрест точность очертаний, в ракурсе его взгляда опять оказался мужчина, бредущий вдоль самого берега. Но теперь, когда он приблизился, мальчик заметил, что одет он не в изысканный фрак лазоревого цвета, а в стираный-перестираный больничный халат, некогда, возможно, бывший синим, но теперь затертый до белесости; в такого же цвета шапочке, действительно сдвинутой на затылок и открывающей покрытый испариной лоб; а в его походке не было ничего странного: он не игриво подергивал ножкой, как казалось издалека, а просто еле передвигал ноги от усталости и к тому же прихрамывал. Ты только представь, Ивушка, как я удивилась: маленький мальчик, заигравшийся на пустынном берегу тихой лесной речки, присевший рядом с живописным кустом на корточки, вдруг сквозь канитель веток увидел бредущего вдоль самого берега человека средних лет, с изможденным лицом, покрытым терракотового цвета небритой щетиной, в

сине-белесом больничном халате, из-под которого выглядывало не первой свежести больничное белье, в тапочках на босу ногу (подвязки подштанников давно развязались и, загрязнившись, шлейфиками волочились по земле). Несмотря на то что мальчик сидел неподвижно, расстояние между ними сокращалось: уже можно было слышать не только шум шагов, но и то, как поскрипывают несильно вжимаемые в песок части расколотых раковин и мелкие голыши, как осыпается затем песок в след, округляя его очертания, как шелестит складками пропитанное потом одеяние и как дышит его владелец, сквозь зубы, натужно, постоянно сглатывая сухим горлом несуществующую слюну. Даже не знаю, как передать тебе мое изумление, Ивушка, боюсь, что не получится, не хватит слов, ты только представь себе, как я была удивлена, когда мальчик, который вполне, я это хорошо понимаю, мог испугаться, внезапно увидев столь странного человека в неопрятной одежде, с печатью безучастности на лице, бредущего в тапочках на босу ногу вдоль берега тихой лес-

ной речки, или даже какого-нибудь пруда, или небольшого озера, затерявшегося в лесу, неважно, не имеет значения, главное, что место пустынно; за узким песчаным пляжем, своеобразной песчаной косой, намытой течением, начинался бор не бор, среднерусская растительность: елки да палки, березы да стрекозы, овраги да буераки, кустарник, окаймляющий поляну, — вполне даже взрослая женщина, такая, как я, могла бы испугаться, хотя уже совсем другого, но все равно, ты только вообрази мое недоумение, когда мальчик, поначалу напряженно замерший с пропеллером в руках, всмотрелся, даже отведя рукой мешающую взгляду ветку, полную листьев, а затем, выронив, а может быть, даже забыв о пропеллере, вдруг вскочил и бросился бежать. Да, я понимаю, ты хочешь спросить меня, куда и зачем бросился мальчик бежать, но в том-то и дело, что я сама хотела бы задать тебе этот вопрос, ибо я знаю только то, что видела, как мальчик, выронив из рук пропеллер, потерял к нему всякий интерес, что есть духу понесся сначала вдоль куста, огибая его со сто-

роны песка (ибо куст, как ты понимаешь, нависал над самой водой), зачем-то ведя одной рукой по веткам, которые хлестали по ней, что так любят многие мальчишки, выбивающие звуки из чугунных оград, решеток, заборов, гранитных парапетов, а затем, что-то шепча своими детскими губами, побежал, увязая в песке, навстречу мужской фигуре. Что интересно, я запомнила это отчетливо: все следы мальчишеских сандалий, что огибали ивовый куст, вдавливались в песок правым рантом, оставляя глубокую канавку, что, очевидно, означает, что мальчик очень спешил, срезая каждый сантиметр, для чего и отклонился на повороте несколько вправо и даже отставил в сторону руку. Вот, а что было дальше, Ивушка, я не знаю, так, боясь ошибиться, сквозь некую мутную пелену вижу, что человек в больничном халате, замерев на мгновение и как-то странно булькнув горлом, раскинул свои длинные руки для объятий; мальчик, кажется, все бежит и бежит по песку ему навстречу, шепча губами один только слог. Та-та-та-та. Или: фа-фа-фа-фа. А может быть:

па-па-па-па. Да, да, Ивушка, только сейчас мне пришла в голову мысль, что шептал он, скорее всего, именно: па-па-па-па. Или иначе: папа-папа. Хотя утверждать не берусь, ибо все это видела словно в полусне, сквозь затянутое паутиной первой изморози стекло. Открыла глаза: будильник на ножках тикает на столе, форточка открылась ночью, сквозняк гуляет по углам комнаты нашей, холодно мне в одинокой постели своей. Что сказать мне тебе, Ивушка, опять шепчут губы твои, тонкие и нежные, чтобы вошел ты в состояние мое, как я каждый день вхожу в комнату одиночества своего, в коммунальную квартирку нашу. Ничего не говори, Лигейя слов моих, я и так все знаю, ибо это не ты говоришь, а я говорю: и за тебя, и за себя говорю, так что не надрывай лишний раз писчебумажную душу мою, прошу тебя. Тихим голосом, прижимаясь лбом к оконному стеклу, еле шевеля губами. Дождь за окном мочит щеки стен, автобус, что заснул, выехав передними колесами на тротуар, двери кондитерской, которые редко открываются промокшими прохожими. Холодит

стекло лоб мой, ветер гудит в проводах и в утробе старого дома нашего, выворачивает наизнанку зонтики спешащих прохожих, позванивает колпаками фонарных столбов. Вернись, Ивушка Плакучая, шепчут губы твои, откажись от слов твоих, подпиши, что требуют они, враги покоя моего, вернись, вернись, Ивушка. Звучит голос твой, осыпается пылью дыхания на стекло. Дождь и ветер за окном. Нет, не искушай, Лигейя моя, потому что нет сил у меня видеть, слышать муки, прозрачную, как виноградина, печаль твою. Не настаивай, ибо иначе опять придется сказать мне, что не ты говоришь мне, а я говорю за тебя, а значит, ни-ни, мало-помалу, прошу тебя, не искушай меня без нужды. Лучше, знаешь что, давай я расскажу тебе о последней беседе с новым приятелем моим, Маятником, историю которого, кажется, если мне не изменяет память, я тебе уже пересказывал, так, какие-то сведения, некоторые интересные моменты, что называется, по горячим следам. Хотя, может быть, я и ошибаюсь и мне только кажется, что я поведал об этой интересной судьбе, а на

самом деле только собирался поведать, но не поведал. И тогда тебе будет непонятно, а это жаль, весьма, очень-очень жаль. Но, кажется, я все-таки рассказывал тебе и о нем, и о его странной, ни с чем не сравнимой любви, ибо составленный им любовный треугольник пикантен, редок, трудновообразим. Но, представь себе, как удивил он меня в последний раз, сказав. Да, сударь, конечно, сказал он, вы не ошиблись, что поделать, так оно и было. Действительно, в тот день, когда я последний раз видел женщину моего вдоха и выдоха, моей диафрагмы и предстательной железы, долго стоял я на дороге перед фронтоном своего дома, вглядываясь в облако пыли, что удалялось и рассеивалось, оседая на кустах олеандра и листьях фиговых деревьев, дожидаясь, пока все стихло, затем обернулся, вокруг никого не было, все незаметно разбрелись; и, ощущая во рту привкус мускатного ореха, доставленного наконец рассыльным из трактира, придерживая на груди схваченную впопыхах накидку с шафранно-желтыми аистами, не торопясь пошел, постепенно растворяясь в

полумраке тенистой аллеи парка; да, да, той самой аллеи, что вела сначала к белой кладбищенской стене, где кончилась моя земля и где всегда была тень, тлен и ветхая сырость, а затем по маршруту нашей прогулки, к беседке, увитой каскадом плюща и скрытой от солнца сплошной стеной шиповника, отчего даже в самую белую полуденную жару здесь был благоуханный свежий воздух. Но, милостивый государь, простите, что перебил: но ведь вы так и не ответили на мой вопрос. Правильно ли я понял, что вы больше не увидели особу с пленительной и целебной плотью, женщину с волосами леди Годивы, закрытую облаком пыли, бредущую вслед за римскими солдатами в самом сердце толпы, так как желала уйти от вас туда, откуда нет возврата, и действительно больше не вернувшуюся никогда? Конечно, если у вас нет настроения, не видите резона, просто неохота, можете не отвечать, это ваше право, не смею настаивать, ни-ни, и не подумаю. Но, должен признаться, сгораю от любопытства, хотелось бы узнать: я не ошибся, так оно и было, не правда ли, если не

трудно, поясните? Конечно, сударь, что за труд, зачем эти экивоки, знаете, как говорят: без труда не вытащишь и рыбку из пруда, или кто не работает — тот не ест, хотя вы мне можете возразить, что работа не волк и дураков работа любит, но мы оба знаем, что терпение и труд все перетрут и тяжело в учении — легко в бою. Но разрешите ответить вопросом на вопрос. Вот вы, сударь, говорите: женщины. А что это такое? Существа с неумеренной волосатостью и постоянно просвечивающими лямочками от бюстгальтера. Причем, обратите внимание, они сами вечно терзают эти лямочки, которые то и дело сползают с плеча, поправляя их, нисколько не смущаясь, в самой неподходящей обстановке. О, сколько познал я их, высоких и худеньких, стройных и угловатых, нежных и стеснительных, стриженных под мальчика и услужливых, как тень, верных, неверных, заботливых, грубоватых, безумных вакханок и застенчивых, как газель, блондинок, брюнеток, рыжих с пушком на теле, веснушчатых и чистоплотных, говорящих в минуты любви и молчаливых, кокетничающих,

как пятилетняя девочка, пухлых крашенных блондинок и презрительных миниатюрных шатенок с телом жокея и душою тигра в клетке, как высокомерны и жалки они в моменты расставания, как меняются их глаза от слез, карие, голубые, с зелеными кошачьими зрачками с сыпью рыжеватых пятнышек, как умоляют они, выпрашивая прощение, как каменеют в фигуре умолчания: не глаза — а контактные линзы, не высокие скулы — а подчеркнутая независимость; суфражистки, феминистки, домоседки, лесбиянки, насмешницы, болтуны, хранительницы домашнего очага, разрушительницы покоя, страстные и фригидные, горячие, как подмышки в сиесту, и холодные, как нос здорового животного, террористки, хулиганки, половые извращенки, скромницы, умницы, тупицы, конфетки, словно вынутые из целлофана, стервы, истерички, монашки, мадонны, федры и пенелопы, февроньи и клеопатры; а как красив у некоторых из них жест полусогнутой в локте руки, которая поправляет волосы на затылке, нежный, женственный, беззащитный и

обворожительный; летний день, обнаженная ручка поднимается, выглядывая из щедро открытого летнего сарафана, оголяется подмышечная впадина, чисто выбритая или интимно покрытая ретушью пуха, пальцы приподнимают прическу с затылка, ловко выдергивают последнюю шпильку, и лавина волос обрушивается на плечи, несется каскадом, шелестит и сверкает, какая-нибудь прядка завьется спиралью над нежной улиткой уха, недовольно наморщится носик, рука подправит, легкий поворот шеи — и по канатной дороге взгляда, сквозь призму омытого слезой глазного яблока, побежала искра призыва, любви, негодования, упрека, ненависти, досады, жалости, сочувствия, служебного рвения и профессионального расчета. Вот, помню, однажды. Минутку, милостивый государь, простите, что перебил: но я ничего не понимаю, как же так, не может быть! Ведь вы сами, милый Маятник, утверждали, что любовь ваша беспримерна, ни с чем не сравнима, одна как перст, не имеет аналогий в анналах истории, имеющих анальное отверстие,

отец онуфрий, обходя окрестности онежского озера, обнаружил, то есть нет, я заговариваюсь, я хотел сказать: как же так, вы забыли о любовном треугольнике, действительно, должен признаться, весьма оригинальном: вы, ваш соперник и ваша пассия, женщина вдоха и выдоха, единственная в своем роде, доступная и недостижимая, ушедшая и не вернувшаяся, вот она была и нету, перевернувшая, по утверждению рассказчика, вашу жизнь, как песочные часы. Но теперь, после ваших слов, я начинаю сомневаться, да, да, совсем немного, чуть-чуть, самую малость, мало-помалу, но начинаю сомневаться: было ли все, что вы рассказываете, на самом деле, или вы, приятель вашего далекого детства по Назарету, девочка Магда, эта неразлучная троица, которая однажды, возвращаясь лесной дорогой домой, случайно попала под дождь, и она, будущая повелительница вашей предстательной железы, решив просушить волосы, ранее ни разу не подрезавшиеся, и так далее, трактир у развилки желто-пыльной дороги, с широким навесом, за городской стеной, пыль

пахнет полынью, придорожный кустарник, роща олив, рядом озеро, уютное озерцо, совсем чуть-чуть заросшее по мелководью щетиной камыша, с одноглазыми белыми лилиями или кувшинками, что плавно покачиваются на стройных ножках, и втекающий в него ручей, необыкновенный ручей, сбегаящий с гор, прозрачный и хрустальный, дорога берет вверх, виляя, как обманщик, пока за последним поворотом не покажется дом, белый и просторный, отделанный алебастром под мрамор, с кипарисами вдоль обочины, с аллеей фиговых деревьев, что почти касаются голов мимо проходящих усталыми ветвями, и вся эта толпа, багроволицый легионер с рыжими усиками, лиловато-фиолетовая Сима с перламутровой, спадающей на лоб челкой, и ее несчастный возлюбленный, и маленький, но хитрый торговец Ицхак, владелец огромного, самого большого в городе, аквариума с живой рыбой, мальчик-посыльный и обладатель узкой угольной бородки, ваш отец, живущий на первом этаже дома, харкающий в специально нарезанные бумажки, и ваш

приятель Иегошуа, в изодранном бурнуса, выгнанный из второго класса хедера, и вы сами, скромный сапожник, имеющий несколько окованных медными полосами сундуков, содержимого которых хватит на то, чтобы купить Ицхака вместе с его аквариумом и живой рыбой в придачу, все это — ничего-с, пар, так сказать, плод воображения, никто, ничто и звать никак, мертвые души? Вы это сочинили, выдумали, введя меня в заблуждение, я вам верил, признаюсь, хотел верить и верил, а этого всего не было, вам это только казалось, как уже шептали, теперь я вам скажу, мне уже говорили, что вы совсем не тот, за кого себя выдаете, ибо вы испытали потрясение, как право имеющий, так как безвременно и случайно, просто учитель литературы, приношу соболезнование и так далее, но, милый Маятник! Прошу вас, если не трудно, поясните: то, что вы мне рассказали, это ничто, не существует, идея-фикс, не считите за обиду, бред или же все-таки это было, имело место, существовало: пожалуйста, если вы не устали, объясните! Да, да, сударь, конечно, я пони-

маю ваше волнение, я сейчас отвечу. Вы не первый, кто задает мне такой вопрос, да, да, не буду скрывать, зачем, не вижу причины, это ваше право, даже долг, обязанность и назначение. Неоднократно некоторые из моих слушателей выражали, так сказать, сомнение, недоверие тому факту, что я именно тот, как вы изволили выразиться, за кого себя выдаю, и что все, о чем я рассказываю, было на самом деле, существовало, имело место и так далее. Но, сударь, если не существую я, тот, о котором только что рассказал, сообщил, поведал, то тогда не существуете и вы, Ивушка, скрипач, слышащий голоса, не существует ваша любимая жена Лигейя, наши товарищи по несчастью, изобретатель, будьте любезны, космогонической теории и глава банды космического шпионажа, Ванечка, эники-бэники-си-колеса и так далее и тому подобное, ибо, как мне иногда кажется, если не ошибаюсь, за стопроцентную истину, конечно, ручаться не могу, но меня не оставляет ощущение, что вы и я — одно и то же, как, впрочем, и все остальные, а раз существуете вы, а кто-

то все же точно существует (но, милый Маятник, — простите, прошу меня не перебивать), значит, существую и я, и дорога, и городская стена, плетеная изгородь из прутьев в Назарете, возле нашего дома, к которой я и вызвал однажды ночью, перед тем как уехать, ее, Магду, женщину с невозможными волосами, и она вышла заспанная, накинув на себя что попало под руку; цвел боярышник, душистая тьма с прожилками запахов обступала со всех сторон, душная южная ночь, низкое атласное небо с жалящими звездами, влажный воздух, в котором странно звучат слова, и хочется говорить шепотом, ее белый обнаженный локоть, сжатый кулачок и палец, накручивающий прядку около уха, мой вопрос, ее недоумение, брови изогнулись углом, а затем скользко зашелестели трава и раздвигаемые ветви кустарника; взвизгнула прижатая ногой доска крыльца, стукнула, коротко проскрипев, дверь, глухо отдаваясь в ребрах и суставах погруженного по горло в темноту дома, и где-то за околицей лениво залаяла собака, отвечая своему собственному эху, а я откинулся спи-

ной, перевернул страницу, заложив ее пальцем, водрузил локти на подлокотники и безмятежно закрыл глаза. Прекрасно, сын мой, читать вечером на веранде, лампочка, обернутая пожелтелой газетой, светит тускло, стакан с недопитым чаем оставил на клеенке пару мокрых пересекающихся кругов. Ты сидишь один, поздний вечер, сквозь отсвечивающие стекла дачной веранды скорее угадываются, чем видны, контуры спящего сада, переплетения густых ветвей, серебряный исламский полумесяц, обрамленный фрамугой, кажется, вырезан из блестящей фольги; тебе приятно и печально сидеть в удобном парусиновом кресле, этом извечном пристанище читателей всех поколений. Что может сравниться с чтением в раскладном парусиновом кресле с матрасной расцветкой, кто свободней, партикулярней и независимей сословия этих скромных граждан, сидящих с книжкой в руках на дачной веранде и листующих страницу за страницей. А если устал, нет, я не утверждаю, что обязательно устанешь, но мало ли, автор требует соответствующей передышки,

раздумья, то всегда можно встать, размять затекшие косточки и, открыв дверь, спуститься по ступенькам крыльца в ночь сада. Прекрасно, вздохни поглубже, потяни воздух ноздрями. Ночь разойдется, раздвинутая конусом света из дверного проема, но шаг вперед — и она накроет тебя с головой.

1980

Другие публикации автора

Последний роман. New England. *Cambridge Arbour Press*. 2010.

Между строк, или Читая мемории, а может, просто Василий Васильевич. New England. *Cambridge Arbour Press*. 2010.

Рос и Я. New England. *Cambridge Arbour Press*. 2010.

Черновик исповеди. Черновик романа. New England. *Cambridge Arbour Press*. 2010.

The Bad еврей. New England. *Cambridge Arbour Press*. 2010.

Faces of Stetes, America. *Allston Contemporary Art Centre* 2010.

Неустойчивое равновесие. New England. *Cambridge Arbour Press*. 2010.

Возвращение в ад. New England. *Cambridge Arbour Press*. 2010.

Отражение в зеркале с несколькими снами. New-York: *Franc-Tireur*. 2010.

Момемуры. New-York: *Franc-Tireur*. 2009.

Kirje presidentilee. Helsinki: *Like*, 2006.

Письмо президенту. СПб.: *Красный Матрос*.

Редакция газеты *Европеец*, 2005.

Веревочная лестница. СПб.: *Алетейя*, 2005.

Несчастливая дуэль. СПб.: Изд-во *Ивана Лимбаха*, 2003.

Ros i ya: Schegge di Russia, a cura di Mario Caramitti, *Fanucci Editore*, Roma, 2002.

Литературократия: Проблемы присвоения и перераспределения власти в литературе.

М.: *Новое литературное обозрение*, 2000.

Между строк, или Читая мемории, а может, просто Василий Васильевич. Рос и я. Вечный жид: Романы. Л.: Ассоциация *Новая литература*, 1991.

Записки на манжетах. Эхо, Париж, 1980, № 1.



Cambridge Arbour Press

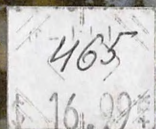
Михаил Берг — неколебимый рыцарь Слова
в ржавых, намертво приросших к телу латах
Русской Духовности, но с лазерным мечом
Постмодернизма в сильной руке.

Владимир Сорокин

Берг как раз реконструирует то, что происходит
«до»: его версия (исторически, очевидно,
спорная) является, как мне кажется, наиболее
скандальной и провокативной. Мало того,
что перед нами возникает фантастический
любовный треугольник: сапожник с черной,
седающей около рта бородой, женщина легкого
поведения Магда или Магдалина и приятель
их общего детства, будущий пророк Иегошуа.

Все происходящее передается нам не
посредством беспристрастного рассказа, а через
восприятие обманутого и обиженного эротомана,
Вечного Жида.

Александр Степанов



Михаил Берг

ISBN 978-0-557-30100-3



9 780557 301003

90000



New Engla